

ЮРИЙ ОНОПРИЕНКО



## НЕСБЫТОЧНЫЙ РОМАН

ПОВЕСТЬ

1

Просторный матовый бульвар весь в свежих сугробах-берлогах. Над каждым вьётся позёмка-дымок, будто и впрямь дыхание залёгшего внутри зверя.

Ирина шла после вечернего спектакля, как всегда, с пустой душой.

Час назад она была умирающей Джульеттой, полчаса назад её усыпали цветами, уже с первого акта чуть подвядшими в холодном, лишь к антракту согрешемся от зрителей зале.

У выхода опять умильно стоял этот репоголовый банкир-крутышка, зовущий в ночной клуб; и опять Ирина со слабой улыбкой (игра длилась) сказала, что болят виски, что вся она разбита, как выброшенная лампочка.

Нет-нет, подвозить её не надо, дом за бульваром, в двух кварталах от театра; цветы розданы восторженным студенткам из массовой и ходко отправлены в заманчивый, угарно-скучный клуб вместо Ирины.

Дома громоздкий и глупый пёс Буре, дома мама с отнимающимися бледными руками; а на бульваре никого, только сугробы-холмики со спящими медведями.

И заодно с ними спит увесистый алкаш на белой мохнатой скамье. Берлоги-лежбища не досталось. Сидит, привалился к деревянной спинке, голову

---

*ОНОПРИЕНКО Юрий Алексеевич родился на Белгородчине в 1954 году. Окончил Курский железнодорожный техникум и факультет журналистики Воронежского университета. Автор многих книг прозы. Лауреат всероссийских литературных премий, в том числе журнала "Наш современник" за 2005 год. Член Союза писателей России. Живёт в Орле.*

набок сронил; иронично так башка висит, будто у нагловатого газетчика из первого ряда.

Джюльетте тринадцать, Ирине тридцать семь; она по-детски щупла и по-старушечьи сердобольна.

— Эй, вы простудитесь, — актриса легко ткнула сапожком распротёртую ногу-тумбу.

Мокрая, в талых бисеринках голова осталась висеть, нога торчать шлагбаумом, зато лапища сделала перед Ирой сложный круговой пасс — и вдруг увлекла её на скамью, усадила прямо в снежный мох, рядом с этим угрюмым чучелом.

— Ты кто? — чутунно спросила голова, оказавшаяся прямо над сахарным плечом Ирины.

— Какая разница, — с досадой попыталась встать актриса. — Отпусти-те меня и сами домой идите, мороз ведь.

Бульвар заинтересованно мерцал, сугробы шевелились, будто матерчатая декорация, тронутая сквознячком непредусмотренного действия.

— Разменяла золотник на пятаки; что ж, порадуйся, зажми их в кулаки, — сказала чучело, подняв наконец осыпанный влажным ледяным крошевом затылок и медленно открыв на Иру бессмысленный зрачок.

“Интеллектуал, хуже банкира, — устало подумала она. — Вот тянет же меня ко всякому сору”.

Сколько раз за её избыточную сердобольность цапали Ирину бродячие шавки и облаивали несчастные старухи, ревнующие к тем шавкам... А может, просто угадывали в её чистых порывах тёмные пятнышки неискренности; Ира сама часто ругала себя за внезапную жалость, видела в ней что-то сделанное. Работа, что ли, аукается...

Но она и в других подмечала то же. Взять богомольцев: сразу видно, какой крестится с верой, а какой словно квартплату вынужденно вносит, кладёт крест вразмах, с оттяжкой; такому очень важны взгляды топчущихся сзади соседей: они потребны, словно штемпель на квитанции.

Пьяный тем временем снова склонил голову:

— Похвались, как громко звякают гроши. До чего же эти звяки хороши... — и равнодушно закрыл глаза.

Это означало: иди, мол; ты мне неинтересна.

Снежная взвесь упруго крутанула вдоль скамьи, опутав обоих одним витком, словно бы объединившим, как трамвайных ездоков, случайно усевшихся рядом; и может быть, оттого Ирина не сразу ушла.

— Поэт, что ли? — спросила с язвинкой, потому как чуточку оскорбилась.

— Упаси Бог. Я не пишу стихи, я пишу фельетоны о тех, кто пишет стихи. Есть разница?

— И это был фельетон? — бросила актриса, вставая.

— Для кого как. А вообще, ты меня прости, я не алкаш. Я только что Гомера милиции читал. Вот, отпустили. А я на радостях посвящение тебе сейчас сочинил.

“Зря отпустили”, — подумала она.

— Молодой медяшка блещет, как... м-мм... плейбой. Послунявлю, положу перед собой... Ты ведь тоже разменяла свой золотник, верно?

Сонный голос, расплывчатый, вовсе недекламаторский.

— Что значит тоже?

Он не ответил. Через паузу сказал все так же, с тормозом:

— Но поблэк наутро этот королёк. Залоснился, как потёртый кошелёк... Вот чёрт, чего они прут-то? Впрямь, что ли, ты вдохновила?

— Не дурачьтесь... Не прикидывайтесь, — актриса, наоборот, говорила быстро, рвано, нетерпеливо; словно учительница надоевшему школьному олуху. — Вы сейчас не в состоянии сочинять такое. Тем более прямо на ходу. И вообще, я всех здешних поэтов знаю.

— Я тоже. И они меня. Поскучнел, бедняга, ряшкою... нет, решкою поник... Где ты, где, мой неразменный золотник?

Ирина сыграла иронию:

— Ага, знаменитость, значит, приезжая.

— Да, но фамилия моей ты не знаешь. Я псевдо... псевдо... я несбыточный. Ищу несбыточные чувства. Стоп, вот и готово! На медяшку много счастья не купить... Жаль, не хочет неразмненным счастье быть... Бери, посвящаю.

Метель заоплодировала истерзанными ветвями каштанов. Ближние пятиэтажки приподнялись на цыпочки, уставили мутные окошки-монокли.

— Спасибо, несбыточный мой. Да не ваше это, а Гомера какого-нибудь московского.

Он трезво посмотрел ей в запорошенные глаза. Сам как кирпич, нос картошкой, однако во взгляде пронзительное, неожиданно-тоскливое.

— Она не умела любить, а он не умел ненавидеть... Ладно, на сегодня перебор. А про золотник тебе, помни, — с этими словами незнакомец встал и ушёл, бороздя позёмку, в другую от Ирины сторону; большой взгорбленный медвежака-шатун.

“Молодец хоть, что не увязался, — облегчённо, но с неясным сожалением подумала Ира. — И ведь даже не стал допытываться, кто я. Посвятил, называется...”

Буре грел маме руки тёплым языком, толстым и обширным, как свежий домашний блин. Старушка-гномик подставляла ему маленькие зябнущие ладони, пёс осторожно и старательно лизал, зная, что без Ирины он в доме за хозяина, и никому не должно быть здесь холодно.

Ира подогрела всем поздний ужин из гречки с поддельной баночной тушёной, затем улеглась в постель, гладко-прохладную, словно целлофановую.

“Она не умела любить, а он не умел ненавидеть”... Тьфу, графомашка напыщенный”.

Про золотник не вспомнила ни строки; уснула, будто после шахтёрского забоя. Нужно выспаться до утренней репетиции.

В тёмных топких скверах дыбился ночной буран, бил вспушённую землю хвостом.

## 2

Тане быстро надоедала самая красивая игрушка. Отец знал: вместо этого надо положить перед скучающей дочкой сразу десять-двадцать старых полузабытых пустяковин — и его суматошное дитя на целых полдня примолкнет.

Хмуря от старания прозрачно-рыжие нитяные бровки, Таня сосредоточенно теребила облупленных слонят да куколок, долго перебирала гнутых зверюшек, усаживала их в ровные рядочки-грядочки, разглядывала, опраивала.

В общем, полное погружение в компанию.

В семь лет эта забавная девочка-веснушка вдруг вздумала сочинять записки домовому. Она аккуратно корябала буковки, сложенные в какие-то доверительные слова, клала бумажку под стол или в паутинную щёлку за шкаф.

Наутро забывала, а найдя, не помнила, что это за обрывок и зачем. Вспомнив, царапала свежее послание и вычисляла новую ухоронку домового: антресольку, подоконник, кладовку.

К десяти годам ей стало казаться, что в туалете за бачком живёт дикий волосатый мужик. И каждый раз перед тем, как туда войти, Таня просила папу прогнать нахала.

Отец встревожился, отвёл дочь к знакомому психиатру. Тот выслушал девочку и, весело попахивая коньячком, ласково засмеялся:

— Ну и пускай там сидит, коли такой дурак. А ты на него писай почаще.

От столь дурного обращения мужик вправду быстро убрался из туалета и из дома.

Зато по ночам подросток Тане стало грезиться, что перед её окошком плавно летает, нежно встряхивая мягкими крыльями, не голубь и не орлик — а самый настоящий демон с тонким человечьим лицом.

Золотисто-рыженькая Танюша любила демонов: сначала лермонтовского, затем блоковского, потом живых, подсмотренных в жизни. Для неё они были небесным воплощением чистоты и силы, а никак не бесовщины.

В студенчестве демон, красивый, холодный и уверенный, всё-таки влетел в окно — и она, говоря пошлым уличным языком, залетела. Это было совершенно въявь и потому очень больно.

Но это было лишь выдумкой.

С той поры Татьяна мысленно рожала раз двадцать — сколько влюблялась, столько и рожала.

Влюблялась страстно, с эйфорией, разочаровывалась с долгими слезами и беззвучными истериками, избивая подушку. Постельных приключений без любви не признавала, считала их почти некрофильством.

Однажды сделала для продвинутой институтской выставки бомбезную инсталляцию: две разнокалиберные пробирки, вдетые одна в другую. Назвала: “Безжизненный секс”.

Ушлая поделка вызвала жуткий восторг и долгие жалостливые пересуды. Татьяну стали считать очень странной.

Окончив искусствоведческий факультет, где и училась безжизненно-извращённому наукообразию, Таня попала в девяносто третий год. Отец-геолог уехал на шесть месяцев, оставив дочке нужную сумму; да сгорели денежки в гиперинфляции — и Таня питалась измельчённым подорожником.

Сначала это даже нравилось, напоминало модные журнальные похудания, но кончилось жестоким дисбактериозом, прилипшим навсегда.

Отец вернулся, схватился за голову: рублишек не привёз, и они вдвоём перепродавали пиво на истоптанном, пробитом дамскими каблучками, как осколками, вокзальном перроне.

Потом Таня вынесла гитару и запела возле дома. Стихи и мелодийки сочиняла сама; комплексов не было — были милиционеры, были уродливые бульварные гуляки, в которых не читалось и намёка на тот давний чудесный демонизм, а выползала сквозь розовые щёки лишь похабщина; да ещё беспросветная тупость.

Кидали копейки, тысячи обещали — если пойдёт с компанией. Таня пошла не в случайную кучку гуляк-пачкунов, а прямо на городской конкурс бардовской песни, где и взяла сверкающее первое место.

Её приписали к филармонии; она ездила с коллективными концертами, за которые не шибко платят, зато обильно кормят на местах; но объедаться Тане было нельзя.

Особой дружбы с профессионалами у неё не вышло. Она болезненно обижалась на любое дружески-ироничное слово — и считала это своей главной бедой.

Впрочем, кому понравится насмешка? — вдруг открылось ей. Все от неё страдают. И Татьяна научилась не говорить плохо ни об одном самом распоследнем ничтожестве.

Это сделало её ещё более одинокой, потому что охотнее всего люди сходятся в совместных сплетнях. А особы вроде Тани злят их своим всепрощением. И ещё честностью умолчания.

Говорить “правду, одну только правду” — не всегда достоинство, не всегда честность — уяснила Таня и приказала себе искать только добрую правду, а мимо недоброй молчаливо проходить в любом разговоре.

Такая вот наша Таня.

Летом она репетировала не дома, а по привычке прямо во дворе, уютном и мягком, как старая фланелька; или в парковой улочке.

Как-то она тихо, будто чётки, перебирала струны на июльском бульваре, усеянном падшими каштанами. Она смотрела на эти давленные плоды-ёжики с выскочившими косточками-потрошками и пела, думая не о песне и не о прохожих, а о чём-то своём.

Перед нею остановился один и стоял долго, слишком долго, словно укор. Она подняла взгляд — крупный мужчина в божественно-белой безрукавке, безукоризненно отглаженной, но с лихо прожжённым сигаретной искрой на грудным карманом, смотрел внимательно и серьёзно.

Он положил ей в коробку апельсинно хрустнувшую бумажку с несколькими нулями; нули, конечно, вовсе не те, что ныне, однако всё равно большие.

— Сероглазка, — негромко сказал он, — позволь, я тебе тоже спою.

Лицо некрасивое, азиатски-грубое, но голос волшебного-доверительный и дружески-непритворный.

Она чуть подвинулась, он легко сел на скамью, мягко взял из сомлевших рук Тани гитару и шершаво пробежал пальцами по струнам; струны засеребрились нежным перебором — словно аромат вечерней косовицы пролетел по дальнему сказочному дугу.

Под такие пьянящие звуки не надо и петь, песню можно просто говорить, а лучше шептать.

Незнакомец почти и прошептал, обратясь к Тане, именно к ней:

*— Разменяла золотник на пятаки.  
Что ж, порадуюсь, зажму их в кулаки.  
Похвалюсь, как громко звякают гроши.  
До чего же эти звяки хороши...  
Молодой медяшка блещет, как плейбой.  
Послунявлю, положу перед собой.  
Но поблэк наутро этот королёк.  
Залоснился, как потёртый кошелёк.  
На дешёвку много счастья не купить...  
Жаль, не хочет неразменным счастье быть.*

— Здорово, — сказала Таня детски дрогнувшим голосом. — Лишь последняя строка... Счастье, наоборот, хочет оставаться неразменным.

— Правильно, умница моя, — бархатно ответил незнакомец и улыбнулся, словно близкой, и от улыбки сделался небесно-красивым. — Вот только мы сами стремимся его разменять; и всегда размениваем.

— Всегда?

— Почти. Эх, найти бы хоть одно счастьеце не разменянное; полюбоваться бы хоть со стороны.

Ласково кивнул и поднялся. Сквозь прожжённую дырку кармана упали две-три табачные крошки; они показались золотыми песчинками.

— Постойте, — заторопилась Таня, и дрожь пробежала по её спине. — Я могу эту песню петь?

— А ты запомнила? — с одобрительным удивлением взглянул он.

— Всю до строчки. Кто автор?

— Считай, что ты. Я её придумал полгода назад, вот на этой же скамеечке. Одна строгая дамочка меня растолкала, замёрзнуть не дала; я с перепугу и сочинил; вам, говорю ей, в благодарность посвящаю. Да не оценила. Поэтому твоя песня, твоя.

И пошёл.

— Погодите, я не могу, нельзя... — слабо-слабо окликнула Таня.

— Можно, милая, можно, — приостановившись, оглянувшись, волосы на висках качнулись опахалом. — В жизни так сплошь и рядом. А голосок твой точнёхонько для неё.

Приветливо махнул загорелой рукой и потерялся в ярком многолюдье. Белая безрукавка мягко растворилась истаявшим облачком.

“Это он, — отчаянно стучало сердце Тани. — Это он, мой, настоящий солнечный демон”.

Сколько раз за тридцать с лишним лет колотилось в груди, сколько раз... Но тут что-то несказанное; тут дыхание перехватило, воздух исчез, весь восторженно улетел вслед за ним. А Тане теперь дышать нечем.

Она уже готовилась обидеться, что так остановился, так ушёл... Уже знала, что сегодня будет метаться в горячке, мысленно забеременеет от него; и большой живот тоскливо стянуло, и каштаны горько раскатились от её конвульсивного шага.

У неё большой рот, бесцветные глаза, рыжие встрёпанные волосы; у него платиновая шевелюра, римский нос, ровная спокойная — медитационная — походка...

Всё лето она приходила на скамью, взглядывалась в разноцветных про-

хожих — его не было. Ясно, заезжий; шальной отпускной иль дельный командированный. Надо поскорее, поскорее забывать.

Да как забыть, если она, считай, уже мать-героиня, а он, считай, её просто бросил. Зачем не позвал, не увёз в свою воздушную сказку?

Вот так же она в прошлом году не увезла из Алушты прибывшего к ней приморского бродяжку-пуделька с жёлто-серой овечьей шерстью. Две недели ходили они петь на парной крымской набережной, и счастливы были, и думали вместе ехать домой к Тане.

Но оказалось, что надо взять уйму разрешений, от ветеринарских до таможенных. Это было просто невозможно ни по времени, ни по силам.

“Оставляй у меня, — сердобольно предложила южная хозяйка. — Пускай гавкать будет, сторожить”.

Но говорила тётка это лишь чтобы успокоить заметавшуюся постоялицу. А через неделю сочувственно ответила в телефонную трубку:

“Сбежал, шельмец. Да не бойся, не пропадёт”.

Сочувствие было равнодушным, именно равнодушным — причудливая и непременная черта всех жалостливых скряг, всех прижимистых добряков.

Таня без всякого осуждения звала их “расчётливое сердце”. Сама так не умела.

“Зачем не наняла машину, ведь были же деньжата, все бы отдала, — плакала она по пудельку. — Предала, погубила. Ведь он погиб, а если нет, так до сих пор меня ищет...”

Каждый год ездить к бирюзовому морю не могла. Алушта вообще её первая встреча с курортным раем.

Зимой филармонисты охотно срывали выездные концерты своими излюбленными бронхитами. Татьяна подрабатывала натурщицей — тело у неё как у форели, гибкое, мерцающее.

И тоже пробовала рисовать. Сделанный по памяти портрет платинового незнакомца висел над постелью, прямо у изголовья, как ангел-хранитель.

На рисунке возлюбленный вышел красивым, гораздо красивей, чем в жизни; он тут был почти выдумкой, но это даже правилось. Таня выдумок не боялась, всегда искала их — а не найдя, сама создавала, для себя.

### 3

Ирина была актрисой от Бога. Он подарил ей сцену уже в шесть лет — родительское деревянное крылечко, вымытое дождями до небесной белизны.

С этого крыльца Ира показывала уличным ровесникам сказки, придумываемые тут же, идущие к ней прямо из тёплого вечернего воздуха. Про пуховых несущек, сыто и сонно бредущих к своему розовому на закате курятничку, про кукушку, что-то гулко подсказывающую из ближней рощи.

Играла всё сама, никому не позволяла подыгрывать, потому что вихрастые сверстники говорили не то и не так или просто молчали, забыв слова и натужно хлопая с крыльца выгоревшими ресницами.

Зато зрители они были отменные, тонко, взахлёб хохотали, катались от восторга по прохладной гусиной травке и уж оттуда наперебой добавляли ломкими голосами самые подходящие к сценическому действию крики-реплички.

Когда сумерки опускали невесомый занавес, сестра Саша, что была старше Иры на целую вечность, на целых десять лет, ловко красила ресницы и уходила куда-то в свою, настоящую, сказку.

Ира истово пыталась разгадать, что это такое, Сашина волшебная сказка, чтоб показать её на завтра с крыльца; но ничего не могла представить, потому что даже не ведала про такую великую юную усладу, как уединённые чмокания с мальчиками.

Она просто тоже окрашивала большой сестриной кисточкой маленькие свои реснички и жадно наблюдала в зеркальце, как удивительно и странно меняется её узенькое личико. Родные, обыденно-знакомые чёрточки превращались в чужие, пугающе-взрослые и манящие.

Потом она заметила, что все мальчики, её верные лопухие зрители, вдруг похорошели. Сказок с крылечка они уже давно не хотели, а куда-то

уходили парами, завораживающе светящимися на фоне гаснущей зари, — и Ира на весь вечер оставалась одна с добрыми молчаливыми папой и мамой.

Саша вышла замуж и уехала, а через год позвала сестрёнку в гости. Ире было двенадцать, одну в дорогу не пустили, поручили двадцатилетнему брату Сашиного мужа, высокому, простому улыбочивому парню.

Они долго ехали вдвоём в мягком зелёном вагоне, весело болтали, а по проходу бесшумно возили хромированные тележки с едой, и сопровождающий спросил, что ей купить.

Ира с любопытством заглянула в яркую ресторанный тележку и выбрала холодный брусочек шоколадного масла: фольга-обёрточка понравилась.

То масло, тот странный гостинчик на всю жизнь запал в душу. И тихий бессловесный восторг был столь огромен, как если бы сейчас ей подарили “Мерседес”.

Взрослый, совсем взрослый мужчина, до того говоривший с ней, будто с малым ребёнком, вдруг сделал кавалерский подарок, обошёлся, как ей тогда казалось, словно со своей, тоже взрослой, возлюбленной.

Оба ели то быстро тающее на булочке маслице (она заставила откусить), смеялись, вытирая друг дружке губы мятой бумажной салфеткой, — и Ира тонула в счастье, как никогда до того, а может, и после.

Хотя, конечно, она тогда была полное дитя.

Они погостили у Саши и благополучно вернулись, и от поездки остался в памяти именно брусочек шоколадного масла с его каким-то млеющим вкусом, и то чарующее чувство-предчувствие, которого двадцатилетний парень не заметил.

А скорее всего, заметил, но не показал вида, поскольку был и навсегда остался человеком врождённо порядочным; впрочем, как и его брат, Сашин муж, как и все простые, природно-естественные характеры.

Ира превращалась в девушку. Она обнаружила это вдруг и сразу: самые лучшие, самые большие мальчики стали смотреть на неё во все глаза. В сером классе, на пёстрой улочке.

Поспешно принялась опять изучать себя в зеркале и увидела много нового: у неё большие глаза в цвет спелого крыжовника, чуть влажного от росы, у неё жгучие чёрные волосы какой-то редкой двойной волны — снизу жёстко выющиеся, а сверху мягкие и прямые.

И наконец, у неё совсем не девичья, а сочная, красивая, настоящая женская грудь. Это сильно расстроило Иру, она стала стесняться всяческих взглядов, стесняться до слёз.

Странно, её никогда не обижали двусмысленными липкими фразами, на неё просто смотрели — и никуда не звали, да она и не пошла бы.

Лишь однажды, задумчиво глядя в дождливое окно, она вдруг спросила у безмолвно терпеливой своей матери:

— Мама, а если я выйду замуж? Как Саша.

— Школу сначала закончи, — погладила мать её роскошные, но короткие (отец подстричься заставил) волосы. — Уже мальчика нашла?

— Нет, что ты...

Но мальчик скоро появился — и Ира нацеловалась до ноющей оскомины, от поцелуев, этих едва налившихся греховных яблок, у неё всю неделю болели подпухшие губы, и казалось, будто они съехали набок.

У избранника даже румянец сиял пороком — так сладкий гриб рыжик частенько уже рождается с червоточинкой. Мальчик приучал её курить.

Однако это у него не вышло, как не вышло и ничего другого. Отец Иры, богомолец, человек суровый, хоть и никогда не сказавший жене и дочерям ни единого грубого слова, позвал Иру, спросил как всегда ровным голосом:

— Дочка, ты куришь?

Она подняла на него свои крыжовничьи глаза (отводить взгляд и врать отцу нельзя) и ответила вполне честно:

— Папа, я сейчас не курю.

Этого достаточно. Отец знал, дочь вправду больше не возьмёт в руки ни единой сигареты. Так и сбылось. До самой его смерти.

Осталась Ира с мамой. Саша жила за тысячу километров, на другом конце света и памяти.

В театральную студию Ирина поступила сразу, но сначала её чуть не заколол любимый актёр. Она специально взяла билет на первый ряд, чтобы получше рассмотреть и запомнить его игру; а он, может, заметив её большие и чересчур восторженные глаза, остушился; и его бутафорная, но достаточно острая шпага прошла прямо у Иры над плечом.

Он поблдевел, спрыгнул к ней и на виду у всего зала преклонил колени, шёпотом прося прощения. Зал заплодировал, пронизательно подозревая, что так надо по действию.

Затем актёр легко вскочил опять на сцену и вновь весело замотал вокруг себя шпагой, а Ирина сидела, уставив взгляд в пол, и, как облучённая радиацией, жарко тлела от стыда.

Позже, преподавая на её первом курсе, этот же велеречивый тип и взял Иру — всё так же красиво-напористо. Она уже разгадала в нём бездаря, способного лишь на дешёвые эффектные — вот именно театральные — жесты; однако мама твёрдо сказала:

— Рожай, дочка, видно, Богу это угодно.

Но ребёнку не суждено было родиться живым...

Ирину ещё студенткой стали брать на первые роли. Она играла, как жила, без надрыва; воздух зала, как тот воздух детства, давал нужную интонацию и настрой.

Играла всё, и свинок с зайчиками, и шекспировских злодеек. Зареклась форсировать голос, вопить во всё горло. Особенно после того, как одна зрительница, разозлённая именно тем осанистым бездарем-громовежцем, крикнула ему в антракте прямо из зала: “Чего вы всё время орёте на нас?”

Наконец, научилась Ирина и целоваться-обниматься с самыми отвратительными партнёрами, словно с безумно любимым человеком. Ей говорили, что это вообще неременное профессиональное условие — как для балерины умение сесть на шпагат.

Но она одолела себя не сразу. Тут словно со съедобными французскими лягушками: столько ни обожай Париж, а кухню его тянет обойти стороной.

Громовежца давно не ставили в спектакли, и он приходил смотреть Ирину, непременно садясь на то место в первом ряду. Показывал холёным нервным пальцем себе на грудь; сие означало, наверное, что она его тоже должна убить шпагой или уже убила.

Плохонький дядя, уставший, как говорил-врал, от театра. Взамен любил — тоже дежурно — какого-то всеми обожаемого хоккеиста Буре. В отместку Ирина, переехавшая с мамой в новую квартиру и заведшая на память о родной окраине большого глуповатого пса, назвала эту ни в чём не повинную псину Павлом Буре.

Когда полюбила в собаке её доброту, хотела сменить кличку, да вовремя узнала, что тот хоккеист действительно гений, и махнула рукой.

В первые годы явилось много искателей её руки, но что это за искатели... Многие даже молодые артисты устали от театра. Клялись в обратном, однако в антрактах охотно плели пустые табачные беседы со сплошь циничными “гы-гы”.

Чтоб не слышать, Ирина закрывалась в самом дальнем закулисном углу, поскольку продолжала жить спектаклем.

А когда иногда попадала на больничный, то плакала от вечернего теньканья часов: “Сейчас ребята выходят на сцену”. И они уже не виделись по шляками; они виделись избранныками, обитателями заоблачно-святой вершины.

На неё, конечно же, косились. Большое чувство всех раздражает, пусть это просто трепетное чувство к своему делу. Дошло до смеха: украли сценическое платье. Что ж, сыграла в домашнем, и овации снова достались ей.

Волглые коллеги-ухажёры с погасшими выцветшими глазами, богатенькие воздыхатели, требующие к любому таланту ценник... Нет, всё не то.

В ней жило обострённое отторжение обмана; она не могла притворяться, даже говоря по телефону.



— Ну, а если найдётся кто, возьмёт не то что за руку, а за самое сердце, и уведёт из театра. Ушла бы? — говорила Саша, сильно обескураженная сумрачно-твёрдым — папиным — характером сестры.

— О чём говорить, если такого нет и за горизонтом...

Да, любовь была одна: к театру. Озонный запах кулис, дыхание преданного зала всю ночь заслоняли одиночество.

Но наутро оно, чёрное и душное, вновь приходило в душу, кусало сердце — и скорее хотелось бежать на репетицию, истязать себя и ворчливого режиссёра.

А потом на каком-то площадном фестивале, отыграв свою репризу и сойдя с подмостков под убогие хлопки (публика не театральная, уличная, с мороженым в каждой пасти), Ирина услышала, как довольно растрёпанного вида гитаристка запела:

— Разменяла золотник на пятаки...

За полтора года Ирина прочно забыла о нелепой встрече на снежном бульваре и о чём-то шевельнувшемся и тут же уснувшем в её сознании, опустошённом после спектакля: отменно сделанная работа всегда на время опустошает.

“Кажется, он сказал, что дарит эти строки мне. А они, видишь ли, всем известны, даже этой доморощенной певичке. Алкаш — он алкаш и есть”.

Однако любопытства ради Ирина пробилась сквозь толпу к сошедшей со сцены рыжей гитаристке:

— Скажите, чью песню вы сейчас пели?

Та посмотрела испуганно, словно её уличили в плохом и очень тайном:

— Я объявила: “Музыка и слова прекрасного незнакомца”.

— Прекрасного? — усмехнулась Ирина. — Да он был пьян вдрызг, вдрызг.

С певичкой что-то сделалось. Бледные щёки пошли алыми болезненными пятнами, как разрывами. Она затряслась, будто в нервном приступе, качнулась на месте, чуть не упавши в стоячее людское болото.

— Так это вы, это вам... Весь год его ищу. И вас... В каждом лице пыталась вас угадать.

Ирина опешила. С полминуты растерянно смотрела, как истово эта импульсивная особа бегаёт взглядом по её скулам, бровям, глазам.

— Он что, про меня говорил? — выдавила Ирина, чувствуя ненужное, неприятное, холодное волнение.

— Да... Хорошее сказал... Что песню прямо при вас сочинил и вам подарил, но вы... это он так сказал... что вы не оценили подарка. А она ведь хорошая, правда?

— А вам он тоже её подарил?

Певица, несчастная, поникшая, сронила жалобно пискнувшую гитару, подхватила падающий гриф рукой, и рука всё так же болезненно вздрагивала:

— Он даже сказал... Он подарил мне авторство. Но я отказалась. Песня его, песня ваша, он подсел ко мне на бульваре на той же скамье, у которой вы встретились.

Ирина язвительно усмехнулась:

— Врун, болтун и хохотун. Высоцкий Розенбаумич. Заявлял, что всех местных поэтов знает, и они его тоже. А я двоих спросила, они лишь плечами пожали.

Певица вцепилась Ирине в рукав — рывком, судорожно. От неё тянуло дешёвенькими духами, каким-то увядающим ландышком.

— Вы кого спрашивали? Ах, этих... Ну, они не поэты.

— Позвольте, — слегка оскорбилась Ирина. — Как это не поэты?

— Так, — засмеялась и певица, её губы со съеденной краской без стеснения растянулись в презабавную, что называется до ушей, улыбку. — У нас в городе человек двести зовут себя поэтами, а настоящих только четыре-пять. Вот их-то он и знает.

— Почему же вы, милая...

— Таня, — суфлёрски быстро подсказала певица, на лице которой огоньками играл весь спектр чувств: за смятением порыв, за улыбкой надежда.

— Почему же вы, Таня, у этих-то пятерых про него не узнали в целый-то год своих страстных поисков?

Намеренно выдала шпильку с такой аффектацией. Театральщина тут к месту. Нашлась ценительница поэзии. Получай тогда, сейчас взовьёшься ба-зарно.

Но у Тани лишь голосок сел:

— Не обижайте меня... Я действительно в него в пять минут влюбилась.

Ирина озадаченно отступила.

“Эка, не спятившая ли вправду?”.

— Я к настоящим поэтам на шаг подойти боюсь, да и не знакома ни с одним, только с их стихами... И что им скажу? Имени не назвал, авторство отдавал, разве поверят? А он точно отдавал, даже настаивал. Значит, нигде их после вас не печатал и не читал; мне прочёл потому, что скамеечка...

Город предупредительно, с подвывами, урчал кошкой, жадно стерегущей мясной клок, вдруг кинутый ей со стола судьбы. Никому из гуляк не хотелось лезть в тяжесть хлопот и дум, всех тянул этот досужий вечер, этот праздничный кусок, который следует тотчас сожрать, пока завтрашний день его не отнял. Одна Ирина сейчас вынуждена вести благотворительные беседы.

— Ну, внешность бы описали. Медвежака, нос картошкой...

— Какой картошкой? У него нос настоящий римский!

Ирина поняла, что пора прощаться. Но Таня, явно больная особа, не отпускала её рукав, безнадежно измятый.

— У нас просто разные взгляды, влюблённой и равнодушной женщин, на трезвого и выпившего... Вы актриса, да? Помогите мне, Ира, он вам не нужен, а мне пуще жизни. Я умираю без него.

“Вот это номер... — вновь подумала Ирина. — Вот это девица запала, как сказали бы мои циники... Надо уходить”.

Но внезапная жалость и ещё самая чуточка бессознательной зависти не дали ей повернуться и уйти.

Притом, чем бес не шутит, песня-то, может, и вправду её, Иринина.

— Я никакой золотник не меняла, у меня вообще ни золотника, ни медяка не было, — нерешительно сказала Ирина.

Приврала: один-то медяшка случился.

— Ой, а у меня той меди... Провались она.

Ещё хлеще. Редкостный персонаж, хоть сейчас в пьеску. Почему ты, Ира, не драматург? Ах да, куда тебе, ты даже домашних поэтов настоящих не знаешь...

“Как ей объяснить, что он, медвежака, скорее всего, и не поэт вовсе, а иллюзионист какой-нибудь, аферист-фельетонист чёртов. Только почему так быстро и без всякой для себя пользы уходит от жертв? Да просто куражится. Но разве она поверит?”

— Знаете что, Таня? Пойдёмте вон в кафе и поговорим там. Раз уж нас одной песенкой, как верёвочкой, связали, надо и вправду выяснить, с добра это или с издёвки.

— С добра, с добра! — бормотала певица, спеша за ней следом, отступаясь, волоча гитару.

В кафе, скромно ароматизирующем крабовыми палочками из минтая, Ирина закурила, а Таня попросила пару глотков водки в гранёном стакане.

— Бог нас сегодня свёл, — сказала виновато и радостно.

## 5

Покурив и чуть придя в себя, — Ирина была тоже слегка взвинчена всей этой катавасией, — актриса хорошо сделанным под Ливанова-Холмса голо-сом сказала:

— Итак, Ватсон, что мы имеем?

Таня засмеялась знакомому голосу и совсем успокоилась.

— Здорово у вас получается.

Глаза у неё стали домашние и милые.

— Спасибо. Кстати, Таня, вы видели меня на сцене?

— У меня денег для театра нет...

— Господи, я вам на любой спектакль бесплатный билет в кассе закажу.

“А наши примы-циники мнят, что весь город их знает... Да в любой самый распрекрасный театр ходит одна и та же тысяча завсегдатаев. Тысяча, и ни душенькой больше. И не потому, что остальные четыреста тысяч безде-нежные, а потому-что-потому”.

— Ладно, мы имеем две точных даты его спасительного явления наше-му провинциальному народу. Вам когда он пел?

— Когда каштаны зрели, девятого июля, в три часа дня.

— Время не обязательно. А я его со скамейки стогнала позапрошлой зи-мой... м-м... не помню, в каком месяце... Нет, помню, я в тот вечер Джу-льетту играла.

— Вот бы посмотреть...

— Сняли с репертуара нашу Джульетту, Москва заревновала. Сначала премий всяких надавала, а потом критиков натравила. Как же, нельзя про-винции за такие мировые глыбы браться, да ещё и всероссийские лауреатст-ва получать. А то, глядишь, повадимся... Ладно, вспомнила, семнадцатое ян-варя.

Таня замороженно смотрела. На щеках проступили слабые прожилки.

“Попивает девица... Впрочем, какая девица, чего это я с ней свысока. Наверняка ровесница. Просто медяшками умучена. Так что тут не мне, а ей меня учить”.

Горечь неожиданная снова шкрябнула сердце.

— Облик его двойной нам тоже известен. Сколько ему, как думаете, Таня?

— Лет сорок, не больше. Стройный, с добрыми карими глазами.

— Стройный, сорок? С добрым взглядом? Не о разных ли мужиках мы говорим?

— Ну, вы же сейчас меня разглядываете... Как у меня подглазья набу-хают... Если выпью ещё сто, лет на десять старше покажусь. А мне всего-то тридцать семь.

“Точно, почти ровесница”.

— Извини, Танечка, не буду разглядывать. И давай на “ты”.

— Давайте.

Кафешная уборщица двумя пальцами сняла со стола их стаканы и по-ставила десятым и одиннадцатым — Ирина автоматически пересчитала — в стопу, высящуюся из другой руки. Стаканная стопа-эстакада кренилась в по-лудугу, тем походя на странный самурайский меч, и уверенно сидела в креп-кой циркачьеи женской ладони.

— И не пей сегодня. Завтра после репетиции пойдём в Союз писателей, будем через официальный канал искать. Не знаю, правда, где этот дом пи-сательский.

— Я знаю, только не заходила ни разу, лишь со стороны смотрела.

— Значит, завтра. А то у меня скоро закрытие сезона, кутерьма будет.

Они условились на два часа дня, обменялись телефонами. Таня смотре-ла, как спасённая собачонка.

...В писательском доме пахло суффиксами. Вернее, одним престарелым засохшим суффиксом, тем не менее считавшим себя сочной метафорой.

Это была сморщенная любопытствующая бабка, усиленно показываю-щая свою утончённость, но с простодушным удовольствием выложившая все тутошние секреты.

— Стихи принесли, девочки? — сказала сочувственно. — Никого сейчас нет, да и не примут ваши стихи, только свои печатают. Вот я уже двадцать лет, с самой пенсии, сочиняю, а ни одного моего не взяли. Окопались, ни-кого к поэзии не подпускают... А вот послушайте, как пишу, хоть и держат они меня за курьершу-истопницу...

“Двести первая поэтесса”, — сумрачно подумала Ирина, а застенчивая Таня перебила довольно смело:

— Извините, но чьи-то телефоны у вас есть? На случай печного задым-ления...

— А чей вам нужен?

— Ну, хотя бы такого-то и такого.

— Ой, самых злыдней выбрали! — качнула фикусной своей головкой истопница. — Забракуют они ваши стихи, как пить дать. На мои даже не смотрят. А у меня их уже собралось на целую толстую книжку хорошую.

Но номера дала, всех четверых, которых попросила Таня, и даже аппарат пододвинула, блестя заинтересованным слезящимся глазом.

Чтобы не звонить при ней, Ирина с Таней попрощались, вышли из могильно покойного писательского чистилища на живую гулкую улицу. Ирина вынула сотовый, набрала первую по списку гусеничку цифр.

— Извините, вопрос несколько странный. Мы ищем безымянного столичного поэта, он был в нашем городе прошлым летом и позапрошлой зимой. Такой внушительный, называет себя несбыточным, стихи на ходу сочиняет и на ходу же раздаривает первым встречным...

— Вася из Балашихи! — вскричал в трубке тонкий поэтический голос. — Король, дружище! Девушка, прошу немедленно ко мне! Мой дом на улице такой-то, трёхэтажка, вся в сирени.

Столь быстро и легко отыскался загадочный незнакомец. Словно дорогая сердцу вещичка, из-за которой месяцами обшариваешь все дальние углы, а она уютно лежит на самом, считай, виду и хитро улыбается тебе, исплакавшейся от обидной потери.

Ира предложила певице одной ехать к поэту и расспросить обо всём, что её интересует; но Таня умоляла не бросать её. Да и самой актрисе, если честно, было любопытно узнать об этом Васе-короле; ну и поехали тут же.

Поэт, худой, с красными от творческой бессонницы глазами, с не менее творчески всклокоченными сединами, встретил отчими объятьями. Звали его Степан Анатольевич, жену Ольга Петровна. Она приветливо сварила зелёный чай.

Видно было, что этот дом любит гостей, любит шумные неподготовленные встречи и говорит со всеми дружески.

— А вот я шуточку ночью написал! — кричал поэт. — Вот:

*Грибы сварились на костре  
И чайник на углях созрел.  
А вяхирь ужин мой узрел  
И тотчас прилетел, пострел.  
Он был красив и очень смел,  
Я отогнать его не смел.  
Маслёнка он с ладони съел,  
Потом на яблоню взлетел,  
На склон закатный посмотрел  
И песню благодарно спел.*

Выслушав затем обе истории — слушал очарованно, словно виртуозную поэму, — Степан Анатольевич долго и по-детски хохотал.

— Он же тогда, зимой, заблукал и снова в милицейскую машину попал. Оно как началось? Вечером мы с женой едва отвернулись, чтоб ему комнату-ночевье приготовить, а он и ушёл по улице бродить, а адреса-то моего не помнил, мы с ним впервые встретились, только по столичным публикациям друг дружку знали. Король! Не будь баламут, был бы лауреат всяческих премий! После Гомера теперь Данте читал им в машине, так они сами мою квартиру вычислили, привезли и сдали под расписку...

— А летом он тоже к вам приезжал? — спросила Таня, ловящая каждое словечко, чуть побледневшая и ставшая оттого словно ещё более веснушчатой; рыженькие веснушки — признак неизбывной молодой силы — проступили на щеках, как звёздочки на небе.

— И ко мне, и... Да что там! Я его в московский поезд сажаю, а через три часа мне из другого города звонят: здесь Вася, не доехал до дома, вот сидит у нас, шампанское из дамской туфли пьёт... Баламут, поэтом себя не признаёт, но по натуре гений...

— Лучше скажите “в натуре”, — с вежливой иронией произнесла Ирина. — Вино в туфлях — слегка банально. Переводы классические знает, а адрес ваш не запомнил?

— Это у многих у нас, сумасшедших. Цифры и лица мимо пролетают, зато образы намертво в память впечатываются. Я вот сколько с ним перезваниваюсь, никак не выучу его телефон. Где-то в столе... Ага, вот. Да сейчас мы ему и позвоним. Но только имейте в виду, может к вечеру приехать. Он мятежный, не сидится ему на одном месте, паломник; а умища, часами может стихи читать, хоть Байрона, хоть Путькина с соседней улицы — но этого Путькина обязательно наоборот, строки сзади наперёд. Вы же знаете, если строки снизу вверх так же складно ложатся, как и сверху вниз, — значит, фиговый стих, набор лозунгов и восклицаний.

— Стёпа, ты утомил девушек своей говорливостью...

Голос Ольги Петровны был вовсе не тот, что у старых жён; не напорист и не услужлив, а по-настоящему родной; он, казалось, тоже улыбался, так хорошо было этим старикам вдвоём.

— Это с отрады, бабулька славная. Вася, душа моя молодая! Сейчас позвоню...

— Запнёте, а тебе седьмой десяток; и всю ночь шуточки свои писал.

Но старый поэт, ломая тонкие пальцы в номерных дырках, уже воркотал телефонным диском, слушал гудящую трубку нетерпеливо, как охотник на тяге, — и вдруг закричал счастливо:

— Вася, ты иде? Вэсна идэ, шпакы спивають, дивчата з хлопцямы гулюють! Лито краснэ, морда красна, а любов вьегда опасна. Нэбэспэчна, як вогонь...

В трубке в ответ забурило, будто хлынула вода из крана. Таня напряглась, пробуя разобрать хоть слово, хоть оттенок забытого голоса. Поэт слушал, то смеясь, то сдвигая выцветшие брови; буровил на каком-то закодированном дружеском жаргоне, напоминающем им обоим о чём-то своём, быллом, забавном и даже, быть может, запретном.

— Ну, ладно, раз так. Тебе две девушки благодарность шлют за стих про золотник. Вредяга, мне его не прочёл, а тут его уже поют. Ладно-ладно, не горюй, на той неделе увидимся. Я в Москву собираюсь...

Положил трубку, посмотрел на жену и обеих гостей то ли весело, то ли озадаченно:

— Вторые сутки, говорит, сижу в доме злой и запертый на два оборота. Супруга заперла и на дачу уехала. Арестовала за пятидневный налёт на Тамбов...

— Он женат? — растерянно пискнула Таня, и веснушки-звёзды утонули в алом зареве-румянце, взволнованно залившим вспыхнувшие щёки.

— Он такой пьяница? — одновременно и столь же растерянно пробормотала Ирина.

Умудрённая Ольга Петровна вздохнула и молча вышла на кухню.

— Вася поэт. Поэт не может быть обьденным пьяницей. Он виртуоз во всём. Вот только жена-террористка этого не понимает. — Степан Анатольевич стал по-настоящему хмур и стар. — А Вася — виртуоз с честнейшим и бесподобно добрым нравом. Он строг только к строке, только к ней одной. Вас он не обидит ни единым словом, вот увидите. Позвоню, когда он снова будет здесь.

— Спасибо, до свидания. А ваши стихи я очень люблю, — расстроенная вестью о жене, проговорила Таня.

— Благодарен, милая. Значит, мы с тобой одной крови. А уж Вася тем более.

С певицей он вообще говорил, как со своей, доверительно: почувал в ней гораздо большее, чем в Ирине. И наверное, с первой минуты. Поэтому Ира рассталась с певицей суховато и излишне поспешно.

“Моя миссия выполнена. Быть закрытым женой — ещё банальнее, чем хлебать шампанское из тапка... Всё, пускай одна с этим непутёвым... И наш Степан этот Анатольевич пустобрёх какой-то, по-моему... Навидалась я таких”.

И чтобы забыть, нырнула в свои химерные сценические думы и надоедливые будние заботы. Скрылась в спасительно-мутноватом каждодневье, как утица-нырок в стоячей озёрной водиче.

## 6

А Таня шла отрешённая, слегка лунатическая. Она знала, что новостей ей хватит на благодатную неделю, а то и на месяц размышлений.

Она несла свои впечатления, словно хрустальную чашу, чуть хрупнувшую по всему донцу, но всё равно такую драгоценную и необходимую, без которой жить уже нельзя.

“Забыла взять балашихинский телефон... Сегодня бы позвонила. Ничего, вечером узнаю у Степана Анатольевича. Милейший старик. Как они породственному с нами разговаривали... Такими, именно такими и должны быть все Его друзья”.

Таня сделала несколько шагов и остановилась. Мир кружил, двоился. Круги радости складывались в петли-удавки, не давали дышать, чернели, сочлились отчаянием.

Певица поняла, что домой идти нельзя, там стены, как пещерные своды, угрюмо навалиются на сердце, там не станет воздуха, там тьма и гибель.

Татьяна вернулась к поэту на его второй этаж, в окна которого метала увесистые кисти-грозди рослая майская сирень, и попросила балашихинский адрес.

— Телефон? — переспросил старичок, ничуть не удивившийся её возвращению.

— И телефон, и адрес, обязательно адрес.

Поэт написал на бумажке каллиграфические каракули, протянул, — бумага тоже, казалось, пахла цветущей сиренью — улыбнулся спокойно, понимающе.

— Как туда доехать? — спросила Таня, чувствуя, что удавки спали, что дыхание вернулось, что избавление есть.

— С Курского вокзала. Девушка, дорогая, ничего, ничего, это не впервые... С ним всё будет хорошо.

“А со мной?” — подумала Таня, но ничего не сказала, потому что старик смотрел ласково и умно, наперёд зная этот её мысленный ответ, абсолютно резонный, угадываемый.

Дома Таня радостно вынула из шкафа неприкосновенную денежную ухоронку и уже через час ехала в сумеречном скором, а на утренней заре была в незнакомой Балашихе, среди обыденных пятиэтажек и рощиц, умытых росой.

Она не ведала, зачем приехала сюда. Её просто притянуло это щуплое место, эта так долго отыскиваемая орбитка выдуманного ею же счастья.

В лучах восхода Таня ходила по улицам, смотрела на свою тень, пластающуюся по тротуару, как большая надёжная стрелка. Нашла дом, поднялась на третий этаж и совершенно без паузы нажала шербатую кнопку звонка.

Ей было всё равно, дома ли жена этого Василия, дома ли он сам или уже снова сбежал куда-нибудь.

Её несло, будто горячий астероид, в плотные слои неведомой и могучей атмосферы, не страшно было сгореть в ней — лишь бы вспыхнул хоть на секунду этот слепящий метеорный свет; тот, под который загадываются самые потаённые людские желанья и которым подпитываются самые эфемерные мечты.

— Я закрыт, — раздалось за тонкой дверью.

Голос вовсе не сонный, но весьма недовольный. Тот, давний, или вовсе чужой? Кажется, тот.

— Знаю, — ответила Таня, не слыша себя: сердце взорвалось и шумно разлетелось осколками шариковой бомбы по всему телу, по душе; эти шарики грохотали в ушах, в лёгких; всё состояло из ударов, звучных ударов этих маленьких сердец.

Ещё минуту назад Таня не знала, о чём говорить, а теперь вдруг поняла, что надо делать.

— Меня послал ваш друг, он вечером вам звонил. Он... он попросил привезти вас.

— Я же закрыт, — повторил голос, и это был голос Его, теперь без сомнений Его, хоть и незнакомой, отрывистой интонации. — Через час жена с дачи приедет, откроет, тогда и приходите.

— У вас есть бельевой шнур? — вскричала Таня; она не могла не кричать, так ударило её в сердце, разбитое на десятки сердец-осколков. — Есть? Крепкий, капроновый? Спускайтесь на нём с балкона, я жду вас под ним.

За дверью молчали. Таня ужаснулась своим словам, однако волна, атомная волна неожиданного решения захлестнула, смяла её — и Таня прильнула к тонкой дощатой перегородке с оторванным номером квартиры и умоляюще, дрогнувшим от болезненного возбуждения голосом почти прошептала:

— Едем, мне приказано, мне нужно. Вы же сильный, вы всё понимаете... Я под балконом...

И вытирая обиженную слезу (“не поедет, не поедет!”), сбежала вниз, чуть не споткнувшись, чуть не упав, обежала коротенький дом, высчитала окно...

Там, над синими разводами окрашенного под небо балкона, стоял Он.

Он стоял в золотых лучах молодого солнца и весь был золотым, и разлетающиеся волосы светились, будто нимб.

— Кто вы? — сказал он вниз; усталый херувим, вопрошающий с облака.

— Вы в прошлом году подарили мне песню... про золотник! Несите шнур, прошу, я без вас не уеду.

Он помолчал, вглядываясь подслеповато, невидяще. Потом вдруг широко улыбнулся — это действительно была улыбка доброго божества:

— Сероглазка! Ты на что меня толкаешь, милая? А если и впрямь сейчас слезу?

Таню счастливо заколотило: небеса услышали её. Никогда она не стояла у икон, не говорила с церковниками, а сейчас точно тёплая длань осеняющая накрыла темечко.

— Я перед вами на колени стану! Прошу вас, не думайте ни о чём плохом, вы просто очень нужны мне!

Он сделался серьёзным и целую минуту молча смотрел на неё сверху вниз. Она тоже молчала, запрокинув голову, чувствуя, что сквозь неё, сквозь всю её несчастную выпрямленную фигурку утренним огнём мчитесь главная минута жизни.

Ни слова не говоря, Василий повернулся, ушёл с балкона. Затем опять явился и бросил к её ногам увесистую жёлтую папку. Папка гулко лопнула, из неё вражьими листочками крупно сыпанули бумаги.

— Подбери и жди. Это стихи графоманские, мне рецензию к ним через неделю отдавать в один журнал. На неделю меня примешь?

Она поспешно кивнула. Он перекинул через балкон белый, похожий на китовую лесу канат и, держась за него, легко, юношески сошёл по серой панельной стене прямо к Татьяне.

Он был таким, как год назад. Только тёмные глаза, когда взял её за плечи и внимательно взглянул в лицо, были серьёзны, даже строги, как у Будды с картинки.

— Ты не ошиблась? — спросил наконец. — Я в самом деле тебе нужен?

— Да. Глаза Будды смотрят с тибетских храмов. А ваши смотрят с русского неба.

Он поднял брови, вынул смертельно поцарапанный мобильник, сказал в него:

— Тёмка, принеси через десять минут к станции денежек. Я снова на свободе и снова уезжаю. Куда-куда, в Шамбалу, за разгадкой бессмертия жизни. У меня оттуда вестник, в розовом платье.

Тёмка был в сорных проплешинах, как в неприглаженных рифмах, и всё понимающий. Наверняка поэт. Сунул деньги, махнул блёклой ладошкой и без лишних слов исчез.

Таня и Василий взошли в весёлую зелёную электричку и поехали в Москву. Таня осторожно взяла руку своего божества. Василий взглянул на неё и засмеялся.

В вагоне скорого они почти не говорили, потому что Таня просто спала, положивши голову на колени Василия. Колени, обтянутые светлой летней парусиной, пахли пылью и ещё чем-то неуловимым, почти незнакомым, сладко-густым — наверное, долгожданным демоном.

Он бережно держал громадную ладонь у неё на макушке; и она в полусне поворачивала измятое личико и, не размыкая глаз, тихо целовала шершавые пальцы. Иногда они что-то говорили друг дружке, но быстро смолкали.

С вокзала к ней шли пешком. Полнеба съела дымящаяся грозовая туча, неся ненасытное ненастье. На самом подходе к Таниному дому ударил ливень — тёплый и тяжкий в своих водопадных струях. Оба в минуту промокли до нитки.

По щербатой мостовой побежала рыжая река, вся в упругих глиняно-слодяных порожках. Василий передал Тане промокшую папку и лёг в эту реку — ничком, головой к течению.

Лицо его мгновенно превратилось в фонтан, в водяной веер, сквозь который бил счастливый юный взгляд; он был устремлён не на Таню, а куда-то вперёд, откуда неслась лавина неожиданной уличной реки.

Таня бросила всё более вспухающую стихоплётную папку на тротуар, по щиколотки вошла в рыжий поток и восторженно плюхнулась пластом на мостовую; и её тоже всю сразу сделало глиняно-омоленной.

Они были два самых больших порога в этом поющем потоке и два самых красивых, в метр высотой, фонтана-веера посреди бурливой мостовой.

Через пару минут они встали, обнялись, беззвучно хохоча, — гроза впитывала все звуки мира. Ливень сбил с них рыжину и снова сделал сияющими в мириадах брызг, отлетающих от их плеч, щёк, глаз; брызг, светящихся влажным нимбом.

“Такое же чудное сияние над его головой я видела сегодня утром, от солнца. Теперь вот от дождя... Он светит всему, и ему всё светит”.

— Зачем ты сделал это? — спросила Таня, утыкаясь Василию в грудь.

— Наверное, от избытка чувств. И ещё чтоб узнать, моя ли ты. В самом чистом смысле.

— В смысле, одного ли мы поля ягода? Разве ещё в Балашихе не понял?

— Понял. Но теперь увидел, что мы ягодки даже не одного поля, а одного корешка.

Это прозвучало музыкой, даже раскат молотобойного грома не заглушил.

Было пять вечера, многолюдный городской миг; но сейчас вся суетливая человечья городня пряталась под тяжкими козырьками магазинов и глазела оттуда, а также из плаксивых окон, на этих двух сумасшедших, дивясь и жестоко завидуя.

В ближней подворотне понуро стоял чёрный попрошаечка, согнанный ливнем с перекрёстка. Таня посмотрела на Василия; он вынул из нагрудного кармана мокрую десятку и подал ей, а она передала мальчишке, глянувшему почти испуганно.

— Вот такого, только ещё более убогого, я пять лет назад хотела усыновить...

— Турчонка? — обернулся он.

— Ну и что?

— Нет, ничего. Сердце у тебя снаружи, восхищаюсь. Имей лишь в виду, что, по сведениям спецорганов, семьдесят процентов уличных попрошаек, и чёрненьких и русачков, и старых и малых, и убогих и наглых, находятся под контролем весёлых кочевников, выходцев из солнечной Индии. — Василий тронул её за кончик носа, как родную глупышку. — Ты бы его усыновила, а они бы тебя задёржали и всё равно отняли, да ещё и данью обложили бы.

— Наверное, потому тот мальчишка меня и послал открытым текстом... Не хочу сейчас про это. Мы пришли.

В Таниной комнате на стульях гусиными потрошками висело её разноцветное старенькое бельё.



— Сюда пока не заглядывай, — сказала она. — Иди сразу в ванну. Хочешь, искупаю тебя?

— Я сам умею, — улыбнулся он.

Ручьи лились с его рубахи — другой, чем прошлым летом, но тоже прожжённой, и уже в двух местах!

— Не подумай чего. Я часто папу купаю, он почти не ходячий. Видишь его каталку?

— Классная, — серьёзно обронил Василий. — Когда-нибудь заведу себе такую.

— Опять шутишь, милый, не надо. Одежду можешь свалить там в углу в тазик, потом постираю.

Василий вошёл в ванную и в полчаса одолел мытьё, и даже рубаху с папиными брюками прополоскал и повесил на шнуры.

— Самостоятельный, — подав ему сквозь дверную щёлку отцовский халат, сказала Таня, и тоже искупалась, и розовое платье тоже отстирала быстрыми счастливыми движениями.

Отец медленно ступил из своего закутка, сел в каталку, молча оглядывая громадного пришельца.

— Здравствуйте, я ваш новый постоялец, — мягко, совсем не так, как до купанья, произнёс Василий.

— У нас никогда не было постояльцев, — ответил немощный хозяин, оглядывая свой потрёпанный халат, едва достававший до колен гостя.

Голос отца, как всегда, звучал грустно и тихо; большие годы делали его ровно-комариным.

— Теперь будет, — родительски-назидательно сказала Таня. — Его зовут Василий. Он нам не помешает, у нас ведь три комнаты, помнишь?

Отец подумал, будто и впрямь вспоминая. Потом заговорщицки сказал Василию:

— Смотри только, динамик возле горшка на голову падает.

— Ничего, она у меня крепкая, — гость из вежливого любопытства нажал свет в туалете, и внутри тотчас заорало гремучее дребезжащее радио.

— Оно просыпается от электровыключателя, — виновато пояснила Таня. — Папа когда-то сделал, чтоб там веселее думалось...

— Теперь знаю, чего тот мохнатый мужик, о котором ты в поезде обмолвилась, у вас за бачком жил. Он же радиоточку охранял.

— Я ей так и говорил, — отец вдруг улыбнулся; как давно Таня не видела отцовской улыбки!

В окна ударило чистое вечернее солнце. Оно сияло в доме все эти десять суток — даже в полночь, когда папа младенчески посапывал за дальней дверью и когда Таня, разметавшая свои потрескивающие искрами волосы над Василием, в сотый раз гладила его рубленные плечи и смотрела, смотрела на него.

— Такой молчаливый... Почему мало говоришь?

— Говорящий правды не знает. Знающий правду молчит. Библия.

— И в чём твоя правда, милый мой молчун?

— В том, что ты меня быстро выпьешь и соскучишься, а я этого боюсь.

— В самом деле боишься?

— Да, без шуток.

Она вжималась в его обширное, удивительно вдруг податливое тело, укутывалась в него, как в тёплый сказочный пульсар из самых её драгоценных снов.

— Но ведь наш космос вечен. Отчего ты мечешься по жизни?

— Может, искал звёздочку вроде тебя.

Глаза его в ночном полумраке светились — вокруг было солнце, солнце её чувства.

— Врёшь, но приятно; и я верю... Что у тебя с женой?

Взгляд Василия потух — медленно, словно остывающий уголёк костра.

— Я тебе придумую несколько строк, а ты больше ничего об этом не спрашивай, ладно?

— Ладно... Извини, — её голос тоже бессильно потух, Таня жалела, что

прикоснулась к личному; семья устроена посложнее любого космоса, она читала. — Извини, хороший мой.

— Ничего. Слушай. Она не умела любить. А он не умел ненавидеть... Да... Она же за ту простоту... простоту, простоту... Ведь не уметь ненавидеть — это у обывателя считается простоватостью, даже глупостью, правда? Нет-нет, это я так, комментирую, соображаю. Сейчас-сейчас. Вот: она же за ту простоту любила умело обидеть. Конечно, он встретил не ту. Конечно, не тот ей мечтался. И вот сквозь сердца маяту ей вскоре другой повстречался. Как сладко... М-м... Как сладко новинку испить, как будто в новинку всё видеть! Она научилась любить. А он её стал ненавидеть.

У Тани навернулись слёзы. Они были не жгучие и не солёные, просто покатались за уши печальными невидимыми неизбывными струйками, и потолок перед глазами качнуло.

Добрый пульсар на минуту обернулся чёрной дырой, Таня испугалась, что её втянет в эту черноту и раздавит там — за такой вопрос, за счастливую её безоглядную бесцеремонность.

Василий повернул, обнял, положил её голову себе на плечо; она уткнулась шмыгающим носом в его могучую, твёрдую, будто ореховая ветвь, ключицу и тут же успокоилась.

— Ты в самом деле это придумал только что?

— Нет, первые две строки давно откуда-то взялись, сидели где-то в подсознании, но я их гнал. Такое больно сочинять, особенно если про себя. Ещё больней говорить многословиями. Выговариваться — это вправду не для меня, прости.

Таня отбросила душное одеяльце, села, почти с ужасом, со священным каким-то ужасом, всмотрелась в его измятое морщинистое лицо; старческие драгоценные морщинки во тьме тоже словно бы мерцали.

— Боже мой, кто ты? Такое нельзя сочинить с ходу.

— Почему? Есть в цирке клоуны — они выпрашивают у зрителей самый дурацкий набор слов и рифмуют их в красивую бессмыслицу, выглядящую эдаким загадочным глубокомыслием. Может, я из таких.

— Что ты говоришь, что говоришь! Ведь ты демон, золотой мучительный демон! Ты...

— Брось. Возьми себе, если хочешь, и эти стихи, они мне вовсе не нужны.

— А что, что тебе нужно, дружочек, бедненький мой? — Таня горячечно, пытаясь разорвать, теребила пальцем край подвернувшейся простыни.

— Мне нужно неразменное, несбыточное счастье. Но его на свете нет и не бывает.

— Господи, господи! Недаром я тогда в одну минуту сошла с ума! Ты сам несбыточный, и знаешь это. Такие, как ты, летают над землёй в вечной тоске — без семьи, без жилища, без детей.

Он улыбнулся, притянул её к себе, нежно похлопал, погладил по спинке — её лопатки сразу сладко вспотели.

— Обманываешься. Есть у меня дочка.

Таня легко и быстро, как делают лишь слепые да влюблённые, оцупала его лицо, живой металл.

— Не хочешь ли сказать, что она вся в отца?

— Вся... Мы с женой жили в Новосибирске, а потом я уехал от неё в Балашиху. Так дочь — представляешь? — моя девятилетняя дочь сбежала ко мне. Из Новосибирска! Без денег, без поезда. Как добиралась, до сих пор не говорит.

Ночь прощально дышала прохладцей — усталая скиталица, принявшая сказанное на свой счёт.

— И... и что? Это невероятно, но ведь это наверняка не всё?

— Не всё. Жена, конечно, вскоре приехала тоже. А дочь подросла и после школы махнула в Питер. Тем же манером, не сказав нам ничего. К каким-то бродячим художникам, этим богемным бомжам. Танцами на жизнь зарабатывала. Потом оказалась в Италии.

— Как?

— Не знаю, но, конечно, не с богатеем. А недавно родила там мальчонку и нелегально — это совершенно непостижимо! — увезла его к бабушке в Новосибирск. Итальянец ищет мальчонку через Интерпол. Скоро, думаю, найдёт и отсудит.

Светало. Таня побито смотрела в окно, не понимая, что это за окно, хотя прежде столько раз видела у форточки летящую свою мечту, сияющую и пугающую.

В ушах звенело — издалека, с потусторонья. То ли она в фантазийном фильме, обернувшись явью? То ли в гостях у марсиан?

Василий понял.

— Тебя ущипнуть? — Как сдержанным, но колдовским полярным сиянием озарил платиновой своей улыбкой.

— Ущипни.

Он легонько прикусил её за грудь. Кристаллы трёхдневной щетинки укололи, вызвали тёплую волну, пробежавшую до самых коленок.

— Не я тебя выпила, а ты меня. И ты оставишь меня, уедешь. И я умру, выпитая.

Он снова взял калёными белыми зубами её трепещущий сосочек — и приподнял и отпустил; ласково, осторожно, как большая умная собака берёт хрупкую хозяйкину драгоценность, чтоб преданно показать ей эту нежную и такую нужную потерю-находку.

— Ты уедешь. Ты всё здесь сделал: вылечил и влюбил в себя моего умиравшего от одиночества папу, расшифровал эту шизоидную гору залитых дождём стихов, навестил старого, молящегося на тебя друга... который и мне так помог... помог найти тебя. А я всё равно умру.

— Но я снова приеду, — он встал с постели, блеснул оливковым торсом, её диковинный цветок-чистотел. — И с тобой вот портрет над кроватью. Это ведь я, правда? Похож на Чингисхана.

— Не издевайся, а то неделю реветь буду. Ну давай... Давай на прощание в театр сходим.

И лоб загорелся: это у неё всегда, когда сглушишь. Подумала об артистке Ирине, цветной, эффектной, уверенной. Да, зря сказала, совсем зря.

Он чуть поморщился:

— Театр? Извини, там всё фальшь, и жесты, и интонации. Редко-редко есть настоящее... Впрочем, как и в поэзии, искусстве, вообще в жизни.

Таня перевела дух; однако она была до боли, до нелепой крапивной боли честна — и притом не согласна сейчас с Василием, потому как всегда восхищалась жизнью, а побыть в театре давно мечтала, ведь там жизнь-сказка.

А главное, если не скажет тотчас об актрисе, — и так десять дней про неё не упомянула ни словечком, — то будет страдать, злиться, обижаться на саму себя, и заодно на Ирину, на Василия, на весь этот никчёмный поющий летний мир. А тут хоть совесть чиста будет.

Розово разгорающееся утро хрустяще завтракало минутками — скоро будет поздно о чём-либо говорить. Василий просто начнёт собираться к поезду.

И Таня как перевела дух, так через миг и собралась с духом:

— Нам стоило бы туда сходить. Там играет Ирина, та женщина, которая тебя в метель со скамейки подняла.

Поэт пожал плечами:

— Ну и что?

— Как что? Я ей благодарна, это она меня на твоего друга вывела.

Василий посмотрел внимательно и увидел у певицы в глазах не совсем понятную тоску. Сказал мягко, как только он это умеет:

— Хорошо, сероглазка моя, пойдём. Но ведь она может сегодня не играть.

— Наверняка будет. Она прима, она лучшая. Занята почти во всех главных ролях, я репертуар изучила.

— Ух ты, — усмехнулся Василий. — Вот почему она тогда так классно передо мной змеюку сыграла.

Таня не улыбнулась. Сердце почти смолкло, задохнувшись в жарком войлоке плохих предчувствий.

— Опять ты играла *это*... — осуждающе сказала мать, увидев, с каким безжизненным, цвета испитого чайного лимона лицом пришла дочка после спектакля.

Будто можно вот так взять и однажды отказаться от *этого*, от этой изнуряющей, пепельно-надрывной роли, самой долгой, нелюбимой и тяжкой.

— Ничего, мама, завтра будет легко и просто.

Она заметила, что раздражается от любой, самой булавочной мелочи. Начала резко отключаться в коротких, ничего не значащих телефонных беседах. Даже мама, немощная и близкая, злила её долгим старательным копошением на кухне.

Однажды Ирине показалось, что за нею полгорода крался маньяк с челюстью питекантропа. Актриса влетела в дом, взяла радостного Буре на поводок и с плохо скрытым бешенством высматривала преследователя по всем ближним аллеям. “Натравлю, пусть загрызёт, ничего...”

Наверное, всё шло от изнурительных репетиций нового спектакля. Ирина давно уже нашла нужную интонацию и пластику, но скрывала их, говорила примитивно, деревянно, ходила по сцене уныло.

Это только бездари стараются поскорее откопать “истину”, а таланты давно знают: “истина” будет найдена лишь после пятой-шестой режиссёрской ломки всего и вся, после “озарительных” поправок и надрывно-умных закатываний очей.

— Что ты пицишь, что пицишь? — грозно-жалобно кричал режиссёр Ирине. — Не можешь по-человечески? Ты же умеешь. Голос, как тот волчара, перековала?

— Обещаю выкуривать в день две пачки вместо одной, чтоб голос стал, будто у лошади, — с показным, а вообще-то издевательским покорством отвечала Ирина.

Басить она умела, особенно при смехе; могла гутнить сварливо, или с “трещинкой”, могла выдавать ангельскую чистоту модуляций — но сейчас Ирина проговаривала текст намеренно нейтрально, автоматом, а то специально спеша или медля.

Постановщику надо позволить вволю повыпендриваться, вволю поучить; словом, отработать свой хлеб. И Ирина позволяла. С каждой репетицией дозированно выдавала то, что он накануне требовал, и не более того. Хотя могла бы всё сделать с первого раза.

Этакий незаметный ответный садизм: по чуть-чуть, внутренне смеясь; ни в коем случае ни с чем не споря и ничегошеньки не доказывая.

Ведь зачем дразнить гусей, подчёркивать, что ты прима? Надобно, как этот расписной дутыш Мальцев, тоже заглядывать в глаза режиссёру, изображать муки творческого поиска.

“Какой же мерзкий, — смотрела Ирина на беспомощные мальцевские потуги. — Что ж ты так жабы упираешься, куда так орёшь до пузырей под зобом? Зачем столько ужимок? И это — сладкий идол телевизионщик”.

Были и другие причины тех дум. Она видела, как тайком плакал смуглый умница Дмитров, у которого Мальцев, этот хорёк, увёл Машеньку — тоже, кстати, пустышку. Но они парочкой пели слёзные романсы на сцене и званных вечерах, а Ирина брала насупленного Дмитрова за рукав и говорила:

— Плюнь. Не стоит она тебя. Почти как сыну тебе говорю, не стоит, сам же знаешь.

И смуглячок скоро полюбил талантливую курносую малышку с пятого театрального курса и успокоился. Но играть его чаще всего заставляли с вероломной кудрявенькой Машенькой. А Ирину — с белёсым хорьком Мальцевым.

И это тоже непрменный театральный садизм. Талант обязан вытаскивать серятину. Всё тут нормально, однако иногда хочется просто умереть.

“Боже, как у меня испортился характер... — пугалась Ирина, вдруг снова бросивши трубку посреди разговора с подружкой, ни в чём не виноватой, далёкой от театра. — Что со мной? Неужели и здесь одиночество?”

Да, почти вся труппа была из парочек, как кубик-рубик из одноцветных квадратиков; эти шиняще терзающие друг дружку, давно пять раз пережившие старички; эти молодые, ещё ненасытные, жадные до громогласных скандалов...

“Быть вдвоём — великий труд, — прочла где-то. — Сказать “да, дорогая” очень легко, но я не в силах, потому что это надо повторять по сто раз на дно...”

Сегодня шла “Княжна Мери”, поделка местного автора, чиновника из администрации, доморощенного драматурга, этакого мизерного графа Хвостова. Лермонтова он подал дубово-назидательно, как и подобает администратору.

Отказаться от постановки битый режиссёр Иваныч, зам главного, человек, давно к власти мирный, не мог, да и не хотел. “Классика, для школьников!”.

Актёры тянули спектакль, словно репинские бурлаки баржу. И он, как та баржа, с усилием, но двигался.

Печорина, конечно, играл Мальцев, становящийся в красивые до смехотуры позы и изрекающий самые ударные, самые известные фразы напористо-учительски.

Веру играла манерная дылда Жидкова, которую Ирина звала “звезда балета” и в которой давно вычислила ту давнюю воровку её сценического костюма.

А Грушницкого изображал бедняга Дмитров, и Иваныч постоянно требовал от него “больше карикатуры”, но Грушницкий всё равно получался куда симпатичней уж больно примерного Печорина.

Закон жизни: “неправильный” всегда интересней “правильного”. Зал, вправду набитый старшекласниками, хлопал Дмитрову гораздо чаще и вкусней. Как и Ирине, конечно, играющей княжну.

Певицу она увидела в середине действия. С лёгкой досадой подумала:

“Не пожелала звонить, за свои копейки билет купила, тоже ещё гордячка”.

Таня, разделившая рыжую копну на два девичьих хвостика, смиренно, не отличаясь от школьниц, сидела в третьем ряду с самого краешка, а рядом...

Рядом был мужчина неуловимо знакомый.

“Всё-таки она его нашла...”.

И глупо ткнуло в груди. Отчего, что он ей? Да и тот ли это алкаш с морозной лавочки? У этого взгляд открытый, ясный, с еле заметной приветливой усмешкой.

Таня часто и преданно поворачивалась к нему; он склонялся, ласково улыбался в ответ; улыбка была чудесная, красила квадратные скулы.

Когда действие кончилось и автор, всегда приходящий на спектакль, с присущей чиновнику-литератору церемонной скромностью раскланялся на хлопки разбегающихся и бросающих фантики подростков, в гримёрку, где Ирина уже оставалась одна, постучали.

“Они”, — догадалась актриса.

— У вас гениальный режиссёр, — Василий, будто сто лет знаком, говорил дружески, но без тени фамильярности. — Он не поленился узнать, что прообразом окарикатуренного Грушницкого был недруг Лермонтова Николай Колобакин, достойнейший человек, к концу жизни посланник в Персии, кутаисский, ереванский губернатор. Население его обожало, потому что он горой стоял за людей.

— Вот как? — сказала Ирина, не разобравшая ещё, рада она визиту или нет, и потому придавшая своей фразе как можно больше равнодушной усталости и безжизненности.

— Да. В молодости поручик Колобакин был разжалован за то, что дал пощёчину командиру полка, оскорбившему его подчинённого.

“Интересный тембр, наркотический, что ли. Не мудрено, что Таня сразу и на целый год впала в транс. У нас этому Василию цены бы не было, отдадим должное, тётки бы валом валили”.

— За это Колобакин был сослан на Кавказ, а там они с Михаилом Юрьевичем не сошлись по эксцентричности своих натур, — продолжал Васи-

лий. — Николай Петрович был крайне вспыльчив, до бешенства, но справедливый. И заядлый дуэлянт, его бы Печорин убить ни за что не сумел. Дельви́г — не тот пушкинский, а инженерный генерал, — писал, что Колубакин до старости дурачился, как юный прапорщик.

Ирина молчала, смотрела на прожжённую сигаретными искрами рубашку гостя. Его не портили ни эти хулигански-сплавленные игольчатые дырки, ни иголки тёмно-серебристой небритости.

“Прямо Шон Коннери... Такую свежую бородку сейчас, кажется, называют сексапильной. Признак небрежной мужественности, ах-ах”.

— Вы чудесно играли, — робко сказала Таня.

Она сильно похорошела, светилась тихой рождественской лампадкой.

— У вас даже слёзы были настоящие... Правда, Вася?

Прижалась, заглянула ему в глаза снизу вверх. Он ответил тепло — с высоты, но не свысока:

— Да, правда.

И вновь повернулся к Ирине:

— Спасибо вам, Ирина Александровна. И голос, и жесты — всё изумительно, как у настоящей княжны. Это с юности мой самый любимый образ, а теперь ещё более.

Простились, ушли. Ирина с полчаса сидела неподвижно, в гриме, в воздушном наряде Мери. Опустошённо смотрела в одну точку, плывущую, невидимую.

“Он всегда так быстро уходит? И неужели у него с этой Таней?.. Он уже ей Вася...”

Ночью был залётный ветродуй. Утром вдоль всей реки лежали ломкие веточки ракут. Сброшенные со своих авангардных верхушек, они никчёмно плавали вниз, на заднике древесной жизни, на сырой набережной, и живые ещё листочки были прочно припечатаны к мёртвым полированным плитам.

Гуляющий Буре старательно обнюхивал их, разочарованно и шумно тряса чёрными ушами. Ирина резко сдёрнула его с берега, нервно пошла по переулку.

Мимо пролетела бандитски-скоростная машина. Ирина накричала на неё; не на шофёра, а именно на машину — словно какая-нибудь бестолковая шавка. Буре недоумённо посмотрел, глаза его страдальчески заслезились: он никогда не видел добрую хозяйку такой.

“Из-за тебя в отпуск уехать не могу, — подумала Ирина про него почти с ненавистью. — Мама бы одна перемоглась, а вот с тобою нет”.

И вдруг как радиосбой; абсолютно другая, запретная волна, прорвавшаяся сквозь глушилку сознания:

“Говорят, безответно любить — гораздо большее счастье, чем быть любимым и равнодушным. Любит ли он её, эту серую мышку, эту пьяничку? Или... или просто тешится нежданной, свалившейся прямо в руки ароматной находкой?”

Она поняла, что неотступно думает о вчерашнем, и от такого открытия чуть не разрыдалась.

“Вот и я стала завистницей. Каково? Мне все завидуют и желают зла. Теперь вот я завидую и желаю ей зла. Каково тебе, милая Ирина Александровна?”.

Ещё вчера она почти не помнила Тани, этой нелепой случайной знакомой. Она, рациональная женщина, прима, гордость и нелюбовь театра; твёрдая, всегда знающая, что делать, как работать и как отдыхать, кого приструнить и кого ободрить, — она, оказывается, просто психопатка.

“Расклеилась без повода. Это усталость, из-за ночного урагана... Может, вправду махнуть на море, Дмитров предлагал, забавный, талантливый, умница... На десять лет моложе, ну и что? Ага, а потом он опять будет плакать, а я — чувствовать себя стервой”.

Вот из-за таких резонов всю жизнь одна. То боязно ошибиться, то боязно разочароваться.

Лето брызгалось красками. Газоны томно ждали второй стрижки, бранили путань сорных трав.

Дня через три позвонила Таня.

— Правда, он хороший?

— Кто?

Хотя, конечно, понятно, кто.

— Ну... Вася. Он после спектакля смотрел сквозь меня. Как сквозь сло-  
дкую бумажку... Силился рассмотреть за мной что-то своё... Может, вас.  
Он, кажется, в вас влюбился...

Господи, ещё этот детский сад. Ирина от злости передёрнулась, будто уг-  
рюмый беспощадный затвор:

— Таня, мы же с тобой, помнится, на “ты”. Не говори ерунды, я и так  
устала от своих театральных глупостей, от работы... Ты была права, он хо-  
роший, поздравляю. Но извини, у меня голова забита перед отпуском.

— Он уехал и уже два дня молчит... — певица-глухариха не слышала  
или не хотела слышать раздражения Ирины.

— Ну ты сама ему позвони... А лучше нет, лучше просто жди. Что та-  
кое два дня? Он быстро снова объявится... Слушай, Танечка, извини, мне  
вправду некогда.

И бросила телефон. Опять бросила, опять нагубила.

“Да что со мной?”

## 9

А потом пришла странная эсмэска:

“Княжна, мир после вас так свеж!”.

Без подписи, номер незнакомый, однако ясно: он, наглец несбыточный,  
чтоб ему пусто было.

Ирина рывком, чуть не продавив пальцем кнопку, стёрла послание, по-  
ходила по комнате — сердце стучало; от раздражения ли, от возмущения...  
Чуть успокоилась, постояла сумрачно — и позвонила Тане:

— Зачем ты дала ему мой сотовый?

— Он попросил, — пролепетала певичка упавшим тоном; словно недо-  
росль, вдруг застигнутый в незрелой школьной смородине. — Сказал, что  
слегка напугал с этим поручиком... Жалкий был, даже потерянный...

Ирина хлопнула себя по боку, как делают, когда исчерпаны все аргумен-  
ты и слов больше нет. Тряхнула головой, сбрасывая злость, но та лишь  
запуталась в густых волосах редкой двойной волны и на высокой режущей  
ноте зудела, словно пчела.

— Уже звонил? — голос Тани зазвенел, будто нить на срыве. —  
А мне нет...

— Дурочка, ну дурочка же! Мне-то что, ну прислал чушь какую-то...  
О себе бы подумала! За такие просьбы по ушам бьют! И теперь видишь, ка-  
кой он хороший? Бабник дешёвый, и всё!

— Но он же мне ничего не обещал... в любви не объяснялся.

— А зачем обещать, объясняться, если ты его сама к себе на аркане при-  
тащила... Гордость у тебя есть?

Таня захныкала, и из трубки капельками упали обрывочные слова-сле-  
зинки:

— Не осталось у меня никакой гордости... Я готова сейчас же к нему  
поехать...

Ирина словно в видеотелефоне увидела плачущей эту совсем чужую ей  
нескладёху и мягко, будто глядя по голове, произнесла:

— К нему поехать... Чтобы жена сковородкой огрела? Таня, деточка,  
терпи, а когда явится, отправь обратно к семейству его любезному... Скажи  
ему по-нашенски, по-бабы: чужую любой сможет, ты свою сумеи!

Таня не поняла. При всей её наивной безоглядности она была чиста,  
словно потаённый болотный родничок.

— Говорю, прогни и забудь его, пустышку этого, пьяницу.

— Я его выпивши вовсе не видела, он все десять дней был такой вни-  
мательный... Это лучшие дни в моей жизни, понимаете? А что он написал?

— Ерунду полную, что они могут написать...

— Зачем вы стёрли, не ответили! Я бы через вас хоть что-то знала. А теперь он, может, никогда не придет. Зачем вы ему не ответили...

Ирина опешила. Похоже, они оба поиздеваться над ней вздумали.

— Ну всё, Танечка, я уезжаю в отпуск, а ты ему передай, когда объявится, чтоб оставил меня в покое.

Никуда Ирина не уехала, весь отпуск вместе с Буре провела у подружки-юристки на даче.

Юристка была подруга не близкая, и поначалу показалось, недалёкая. Такой вот невольный каламбур. Они познакомились год назад, Эля была лет на пять моложе, обожала театр, пересмотрела все роли Ирины, но лопотала почти без умолку. Лишь потом актриса поняла, что эта болтовня хорошо, разведчицки продумана — с той целью, чтоб у Ирины не оставалось времени что-то о ней, Эле, узнать.

Но сейчас Ирине и не нужны были откровения Эли. Лето бушевало, стремительно раскрывало и закрывало свои дни-выюночки. Дачники словно со всего города съехались. Вместо лиц у них были сплошь кабачки и патиссоны.

И опять явилось послание, теперь ночное, в час, когда все самые ясные выюнки спали, свернувшись в белый жгутик:

“Княжна, простите, но вам привет от звезды Альтаир”.

“Пьёт. Что ж ты не стихами, паразит...”, — ответила мысленно Ирина, однако строку стирать не стала. Пусть будет номер под рукой; может, для милиции пригодится, если так дальше пойдёт.

— А есть такая звезда Альтаир? — спросила в следующую полночь, томлящую и сочную, как поцелуй во сне.

— Вон, на юго-востоке, — указала Эля. — Альфа Орла. Вместе с Денебом, альфой Лебеда, и Вегой, альфой Лиры, он входит в так называемый Большой Летний Треугольник. По вечерам они втроём раньше всех зажигаются.

— Ну, ты звезданутая, Элька, — почему-то смутилась Ирина.

— Причём Альтаир, видишь, на удлинённом острове треугольника нижнем. Как лоно богини любви.

— Откуда такое знаешь?

— Друг выучил. Звезданутые самые тонкие соблазнитель.

Подкатывал новый сезон; актёры, месяц назад почти ненавидевшие друг дружку, с восклицаниями обнимались — и видно было, что никто не играет. Осень уже вздыхала за соседними улицами, на закате приятно тянуло ароматной прохладцей, будто из полуоткрытого холодильничка.

На втором спектакле Ирина в том же третьем ряду с краю увидела его. Без Тани.

Сегодня она была старухой, вздорной, анекдотичной. Даже порадовалась.

“Смотри, смотри, а то нашёл княжну”.

И забыла о нём: роль требовала полной растворённости, куражливости, и Ирина играла весело.

Василий ждал её после спектакля у служебного выхода. Подошёл и кротко сказал:

— Здравствуйте, Ирина Александровна.

Глаза спокойно-застенчивые, даже детские. Несмотря на тёплый вечер, воротник джинсовой куртки поднят. Василий любил поднятые воротники, Ирина это заметила, даже летом у рубашки он его разворачивал, упирал в затылок, становясь похожим на полузабытого хулиганистого Бельмондо.

“Интересных дедушек он мне напоминает, то небритого америкашку, то помятого французишку... Не буду грубить. В конце концов, он ничего плохого мне не сделал”.

— Как вам старушенция? — сказала тоже спокойно, но вроде бы мелко, не глядя, вроде бы думая о своём.

— Великолепно. Только вас выдавали ваши чудесные руки. У вас потрясающая пластика.

— Это простительно?



— Вполне. Такая юная бабушка... Можно вас немного проводить?

“Отчего же. Он тоже неплохо играет”.

Они пошли по покорно желтеющему бульвару. Все каштаны здоровались с Василием, дружески оведали ему плечи, клали под ноги приветственный лист.

Памятная скамеечка тоже узнала поэта. Он внимательно взглянул на Ирину, а она сделала вид, будто этой злосчастной скамьи просто нет.

— Почему вы без Тани? — спросила в лоб, уже было пора.

Он помолчал.

— Я лишь сегодня приехал.

— Передавайте ей привет.

Шли тихо, не спеша. И в молчании, как дежурный наряд; разве что повязок на рукавах не хватало. И она росточком вдвое ниже, этакий истерявшийся ребёнок, ведомый дядей милиционером к маме.

“Сейчас он скажет нечто”.

— Ирина, простите, но я приехал из-за вас.

Тут надо рассердиться. Даже необходимо.

— Ведь это нечестно и жестоко, — сказала тем не менее почти ласково, сама своему голосу удивилась. — Она безумно страдает.

— Я тоже. Мне горько думать о ней. Но по-моему, это как раз более честно.

— Не звонить?

— Не обнадёживать. Хотя... если бы не вы...

Он стал, и она остановилась, невольно запрокинула голову, посмотрела в его ясные глаза на фоне ясного неба. Только успела построжить взглядом — пусть не думает, что ей приятна такая дешёвка.

“На дешёвку много счастья не кушать... Твои слова, получай обратно”.

— Послушайте, Василий, как вас? Николаевич?

— Да, он самый.

— Василий Николаевич, все планы насчёт меня — иллюзии. Вы женаты...

В глазах его промелькнуло что-то похожее на усмешку — но не усмешка. Так смотрит шахматист, дождавшийся позиционной ошибки.

— Я знаю, вы совершенно справедливо гоните от себя и пьяных, и женатых.

“Грубит, сорвал простенькую роль пай-мальчика? Нет, это ключевая фраза-колкость, я сама под неё подставилась. Надо играть дальше. Бульвар кончается, дом близко; разойтись мирно, вежливо, как с обычным поклонником”.

— Вас тяготят мои непрошенные письма? — сказал он вновь покорно. — Разрешите-таки раз в месяц присылать по строчке. Это не вам, это мне нужно...

Она молча пожала плечами, без улыбки подала на прощанье руку и ушла.

На следующий вечер он снова смиренно, не выказывая бурных зрительских эмоций, сидел в третьем ряду. И ещё, и ещё — всю цветную эту неделю. И каждый раз поджидал, и каждый раз измотанная Ирина задумчиво соглашалась пройтись.

Он провожал её полчаса, без просьб посидеть в кафе, погулять подольше. Ничего такого, ни клятв, ни излияний, да они были бы неуместны в его очень тонкой, как она осознавала всё ясней, игре.

Конечно, она считала происходящее игрой. Поверить в такую любовь — значит сразу же проиграть. Ловец человечих, он просто умело расставляет тенета. Все они ловцы, от банкира до творца. Но Ирина не Таня. Она сама умеет уловлять и фаршировать высшими страстями и чувствами. Вон их сколько топчется у служебного входа, фаршированных карасей, да что-то все несъедобны...

Поэт, конечно, ищет не обьеденную краснопёрку вроде Тани, а сказочную рыбку-бабочку из-под кораллового рифа. И умеет. Говорит мало, только иногда смотрит внимательно — и Ирина чувствует в себе непонятные токи. Не взгляд, а электроудочка.

“Фу, какая я... Рыбный лоток открыла, себя в золотые рыбки записала”.

— Дайте слово, что позвоните Тане. Иначе сама позвоню.

— Я сейчас уезжаю. Вам привет от Анатолича.

— Кто это?

— Тот милый старый поэт, через которого вы меня отыскиали. Счастливей день... Удачи вам и спасибо за встречи.

Ничего вроде бы и не изменилось. Только осень поплыла по миру, как большой хрустальный корабль. Все палубы его сверкали, переливались благородными бликами. Во всём была тихая благодать.

Ирина заметила, что ей стали симпатичны даже Машенька с Жидковой, даже смехотворный в своей напыщенности Мальцев. На читках новой пьесы она садилась в третий ряд, по ходу спектаклей смотрела на его крайнее кресло с чуточку вытертым бархатным подлокотником.

Там сидели то какой-нибудь дедуган в аккуратном стареньком пиджаке, то восторженная конопатая девчонка, не отрывающая глаз от Мальцева, то умная всем своим обликом дама, сдержанно-оценивающе воззирающая на действие.

И эти чужие люди тоже казались близкими; уже просто потому, что они её попутчики на корабле столь редкостной осени. Ирина играла легко и светло.

— К тебе, Ира, словно второе дыхание явилось либо вторая молодость, — растрогался Иваныч, когда на недельном столичном фестивале она уверенно взяла премию за лучшую роль.

На фестивальной выставке был Василий, потому что Ирина не удержалась и на его новую мобильную строку сообщила, где будут спектакли.

Василий пришёл в галстук и с цветами — букетик в громадных пальцах сделал его странно похожим на умильного мульташного бегемота.

Когда он у выхода столичного театра подал ей эти пять испуганных белых розочек, Ирина встала на цыпочки и поцеловала его.

У Василия грудь-глыба дрогнула — Ирина поняла, что он впрямь влюблён, и рукой-лианой обвила его склонённую шею, и прижалась губами ещё и ещё, и поцелуи вышли обжигающе-родными.

Василий подхватил её, сошёл по ступенькам, метров пятьдесят нёс по московскому скверу, пригревшемуся у театра; получился триумфальный звёздный проход, сзади хлопали в ладони расходящиеся фестивальщики, искушённые зрители, вспыхивали одобрительные возгласы — и Мальцева с Дмитривым в том числе.

Василий предложил такси до гостиницы, она была далеконочко, но Ира, хоть и уставшая, отказалась. Они часа два шли по океански ревущим проспектам, говорили, почти перекрикиваясь, а потом ещё до полуночи сидели в тёмном и тёплом гостиничном дворике и целовались, как школьник со школьницей после выпускного, — истово и греховно.

Когда Василий уехал ночевать к какому-то столичному приятелю, Ирина долго ещё сидела с актёрами, молчала и зябко смотрела вглубь себя; смотрела недоверчиво, словно в иссохший колодец с пробившейся вдрут живую водой.

Через два дня на закрытии Ирину объявили лучшей актрисой фестиваля, был фонтанно-дымный прощальный банкет и затем заспанный утренний поезд. Василий ждал у вагона, широко улыбался — он был вправду красив, этот чертяка-увалень с неправильными чертами лица; его васильковая улыбка и добрейший взгляд согревали.

“У васильков не бывает запаха; кроме того, они сорняки; отчего же, отчего даже один-единственный так осияет всё поле; всё-всё, столь правильно и густо покрытое нами, злаками, полезными — и скучными? Потому, что сам осиял! Кем, чем? Не знаю, наверное, небом самим”.

Ирина, не стесняясь коллег, а даже слегка гордясь, прильнула к этому балашихинскому великану, укуталась, будто в шкуры, в его войлочные объятия — да, такой доверчивой и безоглядной её, всегда прохладно-мраморную, ещё не видели; она сама не знала, что может быть такой.

Жизнь привычно потекла дальше, но казалась совсем иной, чудесно-свежей, как речушка-заморыш, вдруг подпитавшаяся мощными чистыми ключами.

Сердце билось певуче, иногда чуть замирало от неясной светлой мысли — и снова ускоряло пружинный свой пульс, и бег крови по прозрачным жилкам, по самым крайним их капиллярчикам чуялся ясно, близко, отдавал выпуклой мечтой, почти сбывшейся, уже осязаемой — только дотронься до пылающей щеки, и мечта-счастье рядом, в тебе и с тобой.

Ирина смотрела на облетающие ракиты, на городскую пыль, мягко прибитую первой осенней — разгонной — моросью. Запахи ворожили, как в детстве; весь мир стал волшебным раздвинувшимся крыльчком, тем самым, где малышка Ира когда-то была царицей, средоточием бытия, где все её любили, и она любила всех.

Родители тогда звали её Ирушкой-игрушкой, мама до сих пор изредка произносит это ласковое прозвище, но оно давно уж потускнело, ничем не отдаётся в душе — а тут вдруг само вспомнилось, прозвенело, заискрилось.

Ирина поняла, что нашла, вернулась очень дорогая еѐ утрага, так давно и незаметно ушедшая и теперь так легко и быстро — до краѐв — наполнившая Ирину полубытым, но нисколько, оказывается, не угасшим юным счастьем.

Даже истѐрто-истоптанные, знакомые до последнего древесного волоконца театральные подмостки задышали ароматом давних еѐ детских сценических игр.

Декорации местами влажно светились, словно драгоценные иконы-мироточицы, предрекающие благую весть. А быть может, то придут испытания, но тоже, верила Ирина, благие.

Она была тихая богомолка, таила, не выпячивала свою набожность, даже сама в ней сомневалась: разве можно идти к Богу с таким-то еѐ своенравием?

Со всеми она стала мягкой и податливой, это шло в плюс; а страстные сценические еѐ порывы сгладились, и это шло в минус.

Иваныч поглядывал с удивлением. Даже дачная юристка Эля встретила Ирину на улице и не сразу узнала.

— Что с тобой? Ты тихо мерцаешь. Ты... ты перекрасилась?

— Нет, — вяло-плавно отмахнулась Ирина, вся в себе.

— Может, влюбилась?

Цвет волос и цветение души у этой умненькой дурочки, а вернее, разведчицы-астрономши, стояли в одном ряду.

— Глупости, — не меняя тона, сказала Ирина.

— Ты влюбилась, — сказал наконец и Иваныч, видевший, конечно, расставание на московском перроне.

— Глупости, — всё так же плавно-нейтрально ответила Ирина.

— Глупеют от счастья, поэтому сие мне не грозит, — обронил грустный, одиноко стареющий заместитель главного режиссѐра. — А вот про тебя как раз... Твоя Мери разучилась плакать, стала этаким спокойной всепрощающей девой. Ты чего это?

Он был плешив, добр и встревожен, словно старик-отец, провожающий любимую дочь в непредвиденный трудный путь. Ирина была самой искристой гордостью его скорбной жизни.

— А хоть бы и влюбилась, — сказала она с успокаивающей улыбкой. — Ведь чувство помогает искусству, не так ли?

— Так-то оно так, но ещё Микеланджело сказал, что художник должен быть хуже своих произведений. Понимаешь, хуже, — глубоко забираясь в глаза Ирины, мягко подчеркнул Иваныч. — Если он будет лучше своих творений, то с ним, приятненьким, нужно пить чай, а не любоваться на его работы.

Ирина посерьѐзнула, потемнела взглядом, будто тучка, невольно пригнанная ветром из-за горизонта:

— Иваныч, надоело тратиться на эту вытесанную местную Мери... Втолкуй ты главноку — пусть снимет её поскорее с репертуара.

Она сама знала, что снять этот бледный, угловатый спектаклишко пока нельзя, но сказала — миролюбиво, как единомышленнику.

— Да не в ней дело, — продолжал Иваныч, уже начиная сердиться; он обычно и сердился по-доброму, по-домашнему, однако был жутко, как раненный обидами детдомовский ребёнок, упрям; и всегда, между прочим, оказывался прав. — Просто ты сделалась лучше своих ролей. Смотри, как Машенька радуется...

Маша возле шитых фальшивым золотом кулис вовсе не фальшиво, а по-девичьи упоённо щebetала с Мальцевым.

— Спасибо за откровенность. Мне что, вновь стать ведьмой?

— Зачем? Ты никогда ею не была. Просто... просто не скрывай своё счастье на сцене.

Ага, это прорыв в полное откровение. Как у трезвенника после полного фрушетного бокала в обоюдной тиши среди прибойного бестолкового полногoлoсья.

— А если мне играть несчастную, тогда как? — шепнула она, впрямь как в досузей, не мешающей, а только маскирующей уединение толпе.

— Тогда представляй, что ты вдруг потеряла свою любовь. Именно свою; поняла, да? На сцене это не страшно, гораздо страшней в жизни.

Дома она просительно-вопросительно заглянула в большое мамино зеркало, перед которым изучала себя ещё ребёнком. Эта неуклюжая полувексовая доска в грубой узкой раме, с бурыми разводами по углам и пятнами бородавками, покорно ветшала вместе с хозяевами, но словно хранила в своих тайных глубинах всю жизнь семьи.

“Зеркало-коверкало, я ль в театре всех старее, всех уродливей и злее?”

Из мутного радужного потусторонья на неё протестующе смотрел лучезарный маленький лебедь. Вчера подал голос Василий. Он звонил или слал эсэмэски почти через день, и это стало главными сиятельными минутками.

“Приезжай, дружок-василёк, милая моя травинка цвета небушка”, — сказала в порыве слёзного счастья Ирина и тут же подумала, что слова прозвучали вычурно, словно из какой-то проходной водевильной роли.

Она, болезненно-мнительная и потому всегда сама зовущая себя к уверенности и решимости, теперь особенно часто путалась своих фраз, не ведала, весёлой быть или сдержанной, говорить или слушать.

Василий улавливал каждый оттенок, на “дружочка-травинку” засмеялся коротко, ласково; и она угадала, что он понял её смятенье, её желанье, её мучительную радость и радостную муку.

— Приеду, — ответил тихо, как дикий голубь-вахирь проворкотал. — Наговоримся, былинка, вдоволь.

Но не приехал. Позвонил лишь через долгую тяжеловесную неделю. Голос был чужим, пепельно-вскрученным, будто пережжённая медная проволока.

— Мне нужно уехать... Далеко... там... Потом объясню.

И всё. Ирина с противным слизняковым холодком в сердце поняла, что звонков не будет. Он покинул её, покинул уже в эту глухую неделю молчанья.

Дни, изнурённые испортившиеся часы-ходики, остановились. Маятник повис, не отсчитывая ни прохладных утр, ни тёплых вечеров. Явилось сатанинское беззвучие жизни. Ирина не слышала ни городского гула, ни саму себя — даже в моменты самых надрывных мизансцен.

“Он поступил со мною, как с этой несчастной Таней. Видно, он так поступает со всеми. Он изощрённый мучитель, влюбляет в себя женщин без смысла и цели, из какого-то большого интереса... Господи, как его жена терпит?”

Впервые вспомнила, что он женат, даже ужаснулась, что не думала о том раньше. Словно одурманенная лёгкой наркотой девчонка, дала себя утопить в дешёвом чувстве, вывалить в этом табачном крошеве пустых манящих слов.

И это она, не верящая даже механически-пунктуальным осветителям, ладящим свои обманные цветные огни, всегда проверяющая, не сбит ли си- ний луч, не сдвинута ли хоть на сантиметр в сторону розовая декорация.

С досадой вспомнила, как три дня назад позвонила Таня и после тоск- ливого невразумительного лепета зачем-то прочла стихи:

*Она не умела любить,  
А он не умел ненавидеть.  
Она же за ту простоту  
Любила умело обидеть.  
Конечно, он встретил не ту,  
Конечно, не тот ей мечтался.  
И вот, сквозь сердце маяту,  
Ей вскоре другой повстречался.  
Как сладко новинку испить,  
Как будто в новинку всё видеть!  
Она научилась любить —  
А он её стал ненавидеть.*

“Первую строку он придумал при вас, значит, и этот стих ваш, — ска- зала глупышка; потом спохватилась, уловив, что вместо приятного жеста по- лучилась весьма грубый намёк, и поспешно вскричала: — Но он не про вас, вовсе не о вас, упаси Господь! Просто... просто... Тут ни о ком и обо всём”.

И отключилась со всхлипами. А Ирина все эти дни бесилась, черно кля- ла певичку, Василия, себя.

“Я же не знаю о нём ничего. Ни кто его жена, ни где он работает, ни какая у него семья. Эта Таня хоть говорила с ним... целых десять дней. А я... Что он мне толковал в Москве, что я ему? Да ничего, просто вслуши- валась в голос...”

Приглушённый голос его звучал и сейчас, звучал где-то там, на сыром доньшке памяти, в самой скользкой глубине, в непролазном подсознании — его нельзя было достать, выковырнуть, сковырнуть и отбросить, будто кол- кую сосновую иголку с платья; нельзя заглушить, нельзя закрыть уши или уйти, убежать.

“Что со мной, ну что со мной?”.

Её метала чисто бабья, невидимая никому истерика.

“А может, что-то случилось? Но что может случиться в этом его “дале- ко”... Помчался за новым приключением. А может, и вовсе соврал, никуда не поехал”.

Метало-трепало. Циклопический циклон чувств и нервов.

“Милый, позвони, позвони!”.

“Нет, всё грех, все эти мысли грех”.

Ирина пошла в церковь, увидела там низенького священника, хлопотли- во и румяно ищущего под алтарём что-то важное, — как мальчик закатив- шуюся конфетку. Алтарь недовольно-барабанно погромыхивал.

— Батюшка, хочу исповедаться. Я влюбилась... В женатого, — сказала актриса смиренным, даже овечьим тоном.

— В женатого? Блуд всё это, — отмахнулся, не отрываясь от вдохно- венных поисков, святой отец. — Иди. Иди и не блуди.

Ирина возмутилась, вышла — и вдруг разом успокоилась.

## II

Таня знала, что Василий снова приезжал. Когда истлело сердце, она по- звонила старику-поэту Анатолевичу. Тот громко обрадовался и тихо удивился: — Вася? Да, он был и всю неделю ходил в театр. Я полагал, что с ва- ми, Таня. Он так тепло о вас говорил...

— А об актрисе? — безжизненно спросила Таня.

— Нет, ни о ком больше, только о вас... изредка. Когда я надоедал с во- просами.

— Спасибо, извините.

Поняв невольный свой промах, честный поэт сочувственно, взволнованно-дребезжаще добавил:

— Актриса? Гм. Вы думаете... Подождите...

— Нет-нет, спасибо, до свидания.

Занавес рухнул, гильотиной рассёк белый свет. Таня впала в оцепенение, как серая ящерка у холодного камня. Весь месяц движения её были, словно при замедленной, очень замедленной прокрутке видео.

Всё пугалось. Она убирала квартиру, а чайник шумно выкипал или вода беззвучно лилась из крана. Папа булькающе повторял какой-то вопрос, она оборачивалась, но выражения его измождённо-птичьего лица не видела, слов не слышала.

Горбатый пол оставался недомыт, жёлтая картофелина недочищена, скучный обед недоварен. Мыслей никаких. Не было ни имён, ни обиды. Странно, обида, эта вечная мелочная мучительница, не являлась, где-то пугливо пряталась, чуя, что терзать Таню сейчас нельзя, невозможно, она в коме.

На столе пласталась зелёная тетрадь с надписью “Дневник радикальных прощений”. То был не дневник, а измочаленная кипа чистых, ещё не вырванных листов. Каждый исписанный полагалось тотчас выдирать из тетради и сжигать.

На листе сухой кондитерской слойкой укладывались три коротких письма свежему обидчику или обидчице. Первое горячее, ругательное, иногда даже с матерщинкой; второе мирное, пробующее уяснить мотивы обидчика; третье всепрощающее, с торжественными, как пионерская клятва, словами “обиды нет, люблю весь свет и тебя в нём”.

Это был психологический рецепт, вычитанный в каком-то дурацком бульварном пособии. Что оно дурацкое, Таня поняла только сейчас, когда взяла мятую тетрадь, скорбно и ожидающе смотрящую готовыми к самопожертвованию страничками да обрывками бывших “радикальных прощений”, и медленно отнесла её в мусорку.

Во дворе она отняла у подростков-шатунов раненную ими чёрную галку в горестном сером платочке, с белыми тускнеющими глазками — и бессмысленно смотрела, как птица умирает на её холодных ладонях.

Раньше бы кинулась за шпаной, оттаскала бы лоботрясов за волосы-обсоски, а птицу бережно похоронила. Теперь же просто положила в дворовый контейнер, как ту тетрадь, не умеющую помочь порожней Таниной душе ни жалостью, ни жалкостью.

А потом тёмно-угольным ноябрьским вечером в дверь позвонил Василий.

На руке висела громоздкая раскрытая дорожная сумка, в сумке была низкая продолговатая корзинка, в которой полусидело-полулежало существо в капюшончике, надвинутом на красненький носик.

— Здравствуй, — голос вошедшего, будто тихое дуновение. — Пустишь?

Саван-занавес поднялся, явилось искристое зарево, Таня стала всё видеть, всё слышать и понимать.

— Это тот итальянчик? — сказала сдержанно, отметив и почувствовав собственное спокойствие, тон, своё ровно, спело перестукивающееся сердце.

— Да, это Роберто.

Таня взяла дремлющего младенца, осторожно раздела. Стылые капюшон и куртка хрустели нежной молодой капусткой, мальчишка вываливался из них тёплой ватной куколкой.

— Я перед тобой очень виноват, но мне сейчас некуда, совсем некуда его нести...

— Помолчи, — обронила Таня. — О чём говоришь. Давай его уложим, а потом всё расскажешь.

— Я верил в тебя... — Василий, как напоённый мёртвой водой, присел, почти упал на корточки прямо у входа.

Несчастный матёрый медведь, облинявший от долгих дорог и упорной погони.

Стены дома раздвинулись, перестали грызть невкусную затвердевшую Танину душу, их истёртости обернулись цветными прозрачными пятнами.

Хлынул воздух, астматическое и давящее вмиг исчезло; задышалось просто, сладко, счастливо.

Мальш, раздетый, спал, чистая жилка на шейке билась такая родная; Василий всё сидел на полу у входа. Лицо неестественно синее, угрожающее индиго, глаза вошли внутрь и смотрели глубоко в себя.

— Ты плохо выглядишь. Но я тебя люблю больше прежнего. Ложись отдохни.

— Нам утром надо уходить, — глухо, будто себе подмышку, ответил Василий и не поднял ни рук, ни лица.

— Куда? — спросила тревожно, уже решив, что не отпустит.

— Не знаю. Мы два дня добирались из Новосибирска. Я унёс ребёнка за пять минут до интерполовцев. Случайно увидел их через окно и успел выскочить из подъезда. Я теперь преступник.

— Оставайся у меня.

— Нельзя. Тогда ты тоже попадёшь под суд.

— Думаешь, вас тут найдут?

— Конечно.

Беседа с первого мига полилась всерьёз, но Таня почти не вникала в слова; она купалась в его речи, в голосе, хотела слушать и слушать, пить и пить из пронзительно-сладкого, такого знакомого родника.

— А если скажу, мол, не знаю, что это у тебя за ребёнок? Внук и всё.

— Только оттянем время. Лучше под Балашихой снять глухой летний домик. Да ведь зима... И меня тоже искать начнут.

Он был вял, будто прихваченный морозом-утренником сиреневый майский стебель.

— Как же мама, ну, твоя дочь?

— Дочь, дочь... Авантюристка ещё та, прости Господи. Опять где-то в Питере. Вывезла, умно что-то придумавши, ребёнка на транспортном самолёте, оставила у бабки в Сибири, и умчалась. По сути, украла; недавно позвонила, я сказал, что если явится в Балашиху, тут же сообщу в милицию, подписку дал. А сам вот Робика увидел — сердце зашло... Попрыгунья! Мальчишку как собственность держать... Родила, так береги, живи ради сына, пусть и за кордоном. Или борись, доказывай право на него.

— Ляг, ляг.

— Не могу, дай вышить, — посмотрел страдальчески, неуверенно-просяще.

— Тебе плохо будет.

— Хуже теперь не станет, а нервы уймутся.

Он вышел, судорожно двинув острым, словно некий подкожный кремень, кадыком, и растянулся тут же, в прихожей, большим распластанным сомом.

— Не могу ни мыться, ни переодеваться... Голова от мыслей распухла. Отберут малыша. А мне без него сейчас и жизни нет. Если бы Ленке, попрыгунье моей, хоть чуточку чувств... Может, и отсудили бы ребёнка. Там на условия смотрят, на образ жизни. А тот итальяшка, говорит, наркоман; да не верю я. Всегда врала, всегда. Красоту лживую летучую искала и ищет...

— Ты говорил, она в тебя...

— Пустышка она, ни в кого она!

Отец посапывал за стенкой, младенчик за другой. Милые сонные звуки были почти одинаковы, тихо-однотонны. Таня сходила, поправила обоим одеяла, вернулась, села на пол и положила спутавшуюся львиную голову Василия себе в колени.

Вот так же летом она на его коленях ехала из Балашихи, и сахарное счастье было ей подушкой.

Странно, это счастье — правда, теперь с горчинкой — вошло в её сердце и сейчас. Плыло, плыло по кровушке, растворялось живым сиропом, туманило, грело. Как ни будет, а целую ночь можно просидеть вместе, чувствуя, глядя своего бога...

— Спи... И побудьте у меня хоть недельку. Мне ничего, я притворюсь, что тут просто твой внук...

Она отчаянно цеплялась за эту мысль, но тоскливо (вот, вот в чём горчинка, да нет, уже невыносимая, полынная, жгучая горечь) чуяла, что он не согласится.

Вася и не согласился.

— Лишь оттянем время, — вновь безжизненно повторил. — А тебя замучают допросами.

— Кто узнает про меня?

— Узнают. Я здорово засвечен в этом городе.

Таня поцеловала его макушку — пахло дорогой, дорогим.

— А сейчас, сегодня?

— Кажется, нет.

Таня вскочила от внезапной догадки, тонким серебристым шильцем пропкнувшей мозг.

— Слушай, Вася, давай сделаем, будто он... подкидывш.

Его усмешка была слабой, словно гаснущий на ветру уголёк.

— Что за ерунда. Нынче младенцев не подкидывают, притом полугодовалых.

— Ещё как! Ко мне вся округа бродячих кошек и щенков несёт, я их потом через объявления в хорошие руки устраиваю, ещё и перепроверяю, как им там живётся. Вот и докажу, почему именно сюда Робика подкинули.

Василий устало потрепал её плечо-веточку.

— Ты тоже будешь обязана заявить. И его после долгих изнурительных протоколов всё равно заберут от тебя в детский дом. Осознаёшь?

— И пусть! А через полгода я его усыновлю! У него будет русское имя; понимаешь, российское гражданство!

Во взгляде Василия мелькнул сумрачный интерес, и Таню сразу затрясло, крушно, болезненно — это мучительно, как сквозь кесарево сечение, рождалась ущербно-костистая надежда уговорить, убедить, оставить мальчика у себя.

— Ну подумай, Вася, ну какой сейчас летний домик? А так он...

— Но тогда мы должны быть с тобой незнакомы. Понимаешь? А нас летом твои соседи видели и эта... актриса.

У Тани надсадно заныли и виски, и сердце, и вновь подступило густое, липко-сажное удушье.

— Я её умолю молчать. И дедушку этого... поэта твоего. Они всё поймут, они хорошие!

— Да нам с тобой нельзя будет даже по телефону говорить...

— Но это же временно, пойми, миленький! Пусть волокита протянется подольше, а там, быть может, этот итальянец и вправду окажется наркоманом.

Василий долго молчал. Медленно обдумывал, косматый валун-валежник.

— Ничего не выйдет, — сипло вздохнул наконец. — Надо будет и дочери, и старушке нашей, матери жены, как-то сообщать, что ни меня, ни мальчика в Новосибирске не было. Тогда дочь должна ответить, куда его дела.

— Да пусть говорит, что вообще его в Италии на руках мужа бросила!

Василий удивлённо вытаращил красные от затяжной бессонницы глаза:

— Ты, погляжу, авантюристка не хуже. Ведь она действительно придумала легенду, что оставила малыша во Флоренции. Мол, он в последний миг затемпературил, она дала ему лекарство, он уснул. А с мужем была в ссоре, он этого не видел, потому что был в этой... в ломке. И вот она, дура, зашла у него в старом рваном пиджаке пакетик с героином, чтоб на суде скомпрометировать. Я спрашиваю: а как же виза на двоих, как билеты, всё же это отслеживается. Машет рукой: я все деньги убухала, контрабандиста наняла, там до Швейцарии даже на "кукурузнике" можно долететь. Поди теперь докажи, одна летела или с ребёнком. Но врёт, всё врёт...

— И пусть врёт! — Татьяна возбуждённо шлёпала пятками по ночному коридору, переступая через вытянутые ноги-тумбы Василия, и всё больше входила в раж; такое, наверное, бывает у баб, узревших в магазине приметную дорожную шубу. — Чем дальше будет тянуть время, тем лучше.

— Да её просто посадят..., — стёрто-понуро шептал себе под нос Вася.



— Не посадят. Через какое-то время мы предоставим им мальчика — но уже русского.

— Ладно... ладно...

Василий лёг, как подпиленный дуб свалился, а Таня долго не спала, вскакивала к младенцу, мирно и прочно сопящему; стояла у окна, ничего не видя.

Гремучий поток мыслей-осколков рвал истерзанное нутро. Это была горная сыпь ломаных чувств и со скрежетом налезających друг на друга душевных пластов.

Их срочно надо было понять, разгадать, раздвинуть, разложить по полочкам сердца.

Не разгадывалось, не раскладывалось.

Наутро, на едва брезжащем плоском рассвете, Василий уехал, торопливо поцеловав, не посмотрев в её ищущие глаза и уж тем более не взглянув на младенца.

Она поняла: если б глянул, унёс бы мальчонку с собой.

Оставшись одна — отец не в счёт, — Татьяна принялась горячечно метаться. Что ей тот ребёнок? Что тот Василий? Ведь надо сдавать, отдавать этого Робертика!

Рассвет неуклюже лез в окно, будто слепая, нелепо заблудившаяся сова, гонимая беспощадным вороньём.

— Пошла вон! — надрывно кричала онемевшей квартире Таня.

Отец, ничего не разобравший, равнодушно глянувший на младенчика, сонно и по обыкновению путано откликался своими обычными, общими, общечеловеческими пустыми словесами.

Всё утро Таня думала, что делать дале. Соседка, бледно-розовая отставная интеллигентка, встретившись на скоблёной лестнице, по которой Таня бежала за молоком, до того совершенно ей не нужным, даже неведомым, жадно, но с манерной вежливостью спросила:

— А у вас, Таня, снова чудесные гости? Вчера...

Таня не ответила, не запнулась, не остановилась. Она поняла, что вчера эта до сих пор красящаяся престарелая наблюдательница видела Василия с корзиной. Или без корзины, на рассветном выходе, какая разница.

Главное, это меняло всё.

Таня в страхе позвонила Ирине.

Подкуранный голос артистки, там, в её плюшево-сказочном и, казалось, не ведающем житейских бед мирке, был, как всегда, еле уловимо мрачен. Ирина говорила, будто пропылённые многолетием сценические реплики цедила. словно профсоюзные подарки по нелюбимому долгу службы подшефным колонистам вручала. Даже не утруждала себя фальшивой праздничной дикцией.

— Что? Какой Вася? А-а, тот... Что? Ребёнок? Да ты с ума, что ли, сошла!

Таню спасло её обыденное неприятие ни тона, ни слов. Ею владело дело, большое, глыбистое. Разве важен тон, если надо заткнуть пробойну в борту баркаса? Хотят унижить, поизмываться? Пожалуйста, но не дайте пловцу-мальчонке утонуть.

Как гнусной билетной кассирше или ждущему поллитры завхозу, Таня жалко повторяла:

— Ира, посоветуйте, помогите, вы же намного умнее меня, намного опытней...

Это было то что надо, то, что в словесных бабских полноводьях работало на сто процентов; однако Таня говорила это искренне, не мысля и не тая ни одной задней мыслишки-заплатки; она просто искала спасенья.

И спасение пришло. Ирина смилостивилась, кисло бросила:

— Ну, есть у меня одна подруга-юрист... Чего, ребёнка ей взять и милиции заявить, что подкинули? Вряд ли согласится — да это с ума сойти, неужели не понимаешь? Но я ей позвоню, а ты подожди дня два.

— Не могу, Ира, не могу! Пожалуйста, сделайте сегодня, сейчас! Я через полчаса, если позволите, перезвоню.

Если позволите... И не позволит, Таня всё равно звонила бы, ей некуда деваться, ей надо что-то придумать, стены дома падали на неё — а в тёмной соседней конурке-гнездышке жарко спал младенец, и его тихое дыханье слышалось, как тиканье часовой бомбы.

Удивительно, но позвонила та самая подруга Ирины.

— Меня зовут Элис, можно Эля. Родители любили группу “Смоуки”. Ира сказала, что у вас жуткая ситуация. Ничуть не жуткая — тут скорее что-то божественное, предначертанное свыше. Танечка, давайте встретимся прямо сейчас. Пригласите меня к себе, хочу увидеть вас и мальчика.

Счастливая волна омовенно прошла с головы до ног. Отец не открывал дверь комнаты, не выходил; прятался от нагрянувшей угловатой истории, пережидал. Знал, что дочка всё решит, найдёт шершавый выход из потрясающе провальной ситуации-дыры.

Эля поразила Таню сразу. Одета изящно-сдержанно и вместе с тем продуманно-смело, красные тона её одёжки не кричали, а тонко обрамляли личико, тоже изящное, с добрым и опять же смелым, вернее, уверенным выражением глаз.

“Супермодель, — с холодком в сердце подумала Таня. — Даже Ирине до неё далеко. Но такой доверить младенца?”

— Я юриконсульт, — сказала Эля, и голос её тоже был дивным.

“Чистейшая нота “фа”, — опять подивилась Таня.

Людские голоса она делила вот так, по нотным спектрам. Все эти надменные “до-ре-ми” её угнетали и раздражали, “соль-ля-си”, да ещё на высоких октавах — подспудно приводили в истерику, будто делали надрезы в душе.

А “фа” была самая срединная, спокойная и ровная — но и самая редкостная. В музыке она, как и другие, играла общую мелодию, удачную или не очень, зато в жизни была избранницей, звучала редко-редко, почти никогда.

“Наверное, таким голосом фронтовые медсестрички успокаивали смертельно раненых... А я кто? Я и есть раненая...”

И Таня вполне доверилась пришелице. Только по-школьному спросила:

— Вы правовед? И идёте на заведомое нарушение закона?

— Закон чаще всего обходит именно знатоки... И не будет у нас особых нарушений, — улыбнулась Эля.

Улыбка ещё более зажгла её огненные губки и подрумянила сдобную причёску. Ничего вульгарного, но уж больно шикарно, как под театральными прожекторами.

“Да кто она? — вновь встревожилась Таня. — Цветочек аленький? Чудище обло?”

— Вы замужем?

— Нет, однако была. А вообще я круглая сирота. Но вполне обеспечена и никакая не мошенница, — снова мягкая улыбка, словно у предзакатного солнышка. — Да вот паспорт, я понимаю... Мы с вами сейчас всё обсудим, если можно.

Голос просто материнский, тон ровный, чуточку умудрённый, без всякого нажима. Таня представила, как эта красавица общается с угрюмыми милиционерами да юристами-пофигистами.

— Как вы подружились с Ирой?

“Надо узнать про неё всё, всё, и вот тут же. Она слишком открыта. Плохо это или хорошо? В любом случае, я, только я одна отвечаю за мальчика. Мне надо знать её”.

— Это нельзя назвать дружбой. Просто Ира великая актриса, я её обожаю. Но очень замотана, очень. Летом она пробует спрятаться от жизни у меня на даче.

— Разве можно спрятаться от жизни?

— С её дёрганым характером — нельзя. Наверное, и с вашим тоже.

— Вы знаете мой характер? — невольно сорвалась Таня на противное самой же “си”.

— Не обижайтесь, представляю. И не со слов Иры. Её фразы надо фильтровать, притом при всей своей резкости она артистично скрытна. А вы

прыгаете в жизнь, постоянно ныряете в неё, как с незнакомого обрыва, даже не думая, глубина там внизу или ближние подводные камни.

“Читает мне лекцию... Что, прямо сейчас прыгнуть с обрыва, показать ей? Да глупо, она же, как ни странно, права”.

Поговорили с полчаса, затем прошли к ребёнку.

Подвёрнутые крохотные ручонки с узенькими красноватыми морщинками-перевязочками на запястьях лежали с полусжатыми кулачками, и каждый пальчонок был сделан из живого прозрачно-фиолетовенького аметиста.

Элис мягко расправила мальчику руки и пальчики, затёкая фиолетовость их на глазах расплылась в розовость, такую же лучезарную, как на сонном личике младенца.

— Какой славный, — прошептала гостья. — Даже жалко отдавать органам. Но завтра же надо. Только без этой корзинки, на ней сибирская бирка, вот. Корзинку надо разломать в мелкие щепочки, а потом разбросать по разным мусоркам.

Таня чуть испугалась столь резкой и деловитой перемене гостья. Та, как бы не замечая волнений хозяйки, уверенно продолжала:

— Что за костюмчик у него? Нормально, китайский, такие и тут есть. Давайте всю его одежку, всю, сейчас же проверим. Надо, чтоб всё вроде бы куплено здесь. Чужое — вот шапочку с непонятной эмблемкой, штанишки — тоже порежьте и сожгите на газу... Понимаете, и к вам, и ко мне, скорее всего, придут. Лучше, чтобы он вообще был в одних пелёночках-распашоночках, даже пусть в обрезках и в старом одеяле. Есть у вас?

За окном померкло. Или просто в глазах.

— Вы что, прямо сейчас его заберёте?

— Конечно. Моя машина стоит внизу, через два подъезда. Полчасика подождём полной темноты, и я с ним выйду. Он минутку побудет вот в этой моей сумке. Главное, чтоб никто не увидел меня на лестнице.

— Да видела его вчера соседка! — вскричала с плачем Таня.

Гостья несколько не изменилась в лице. И бровью не повела. Быстро, автоматом, уточнила:

— На входе или на выходе?

— Не знаю... Но головёнка в капюшончике, кажется, из корзинки торчала... Или нет... Не знаю.

Эли секунду подумала, склонив аккуратный ухоженный лобик. Молоденькая, ни складочки, кожа матово-мраморная. Тридцатилетка. Чьё-то хрустальное счастьеце, чья-то гляцевая находка.

— С соседкой отношения хорошие?

— Никаких отношений, стерва она старая! — наверное, впервые Таня изменила своему правилу ни о ком не говорить дурно.

— Отлично. Значит, повторяйте, что просто наговаривает. Просто к вам кто-то постучался, искал какого-то... скажем, Павла. Вы ответили, что он ошибся, и закрыли дверь. Нет, погодите, не закрывайте... Если она его видела входящим... Говорите, что впустили машинально, не спрашивая, кто. Ведь вы так и делаете?

Таня ошалело кивнула. Дивиться теперь некогда. Эли уже превратила её в верную послушницу, точнее, в бездумную зомби. Не надо ни сомнений, ни боязни. Только исполняй. И это, оказывается, так легко.

— Ну вот. Внутри дома вы выяснили ошибку и выпустили пришельца.

— Без корзины? А если она его видела и входящим, и выходящим?

— Таня, какая вы... Вы же мне сказали, что он у вас пробыл всю ночь, пришёл поздно, ушёл рано. Не могла она его дважды видеть, по теории вероятности это доли процента.

— Она его, небось, узнала... Летом наверняка видела.

— Узнала, не узнала... Главное, вы не узнали. Он вам с лета противен, сейчас напрочь забыт, думать не хотите, что он и где он. Можете даже сказать, что вчера ещё с обеда хорошо так выпили, очень хорошо... И бежали сегодня мимо соседки не за молоком, а за пивом. Кстати, он предупредил, что его вчера здесь не было?

— Да...

Эля одобрительно-дружески толкнулась кулачком Тане в бок, словно шалунья-заговорщица.

— Меня тоже сегодня здесь не было. Мы с вами не знакомы. Связь через Иру, скоро она позвонит, назначит встречу, скажет, как обошлось. А теперь близится самое ответственное и самое рискованное.

Таня приготовилась. Она с радостным возбуждением исполняла короткие рубленые приказы этой красивой правоведницы, превратившейся в решительную окопную разведчицу. Даже цвет причёски у этой яркой шатенки словно бы сам по себе притух, маскируя задуманное.

По знаку Эли Таня одела мальчика, уложила в сумку, сбежала посмотреть, свободна ли лестница.

Когда вошла обратно, Элис выскользнула с сумкой, ободряюще подмигнув. Дверь хлопнула вниз.

Таня почувствовала, что голова кружит, как в быстром рваном вальсе. Упала на диван и лежала долго-долго, пока не стих чугунный звон в висках, в сердце, во всей понурой комнате.

## 12

Ирина никогда не могла понять Элис.

Тонкая, сдержанная, с манерами, как у венецианской принцессы в маске, рафинированная, изящно выкруливающая из аховых взрывных ситуаций...

И прямая, никогда не идущая на авантюры с мужчинами, умеющая жёстко отбить или издевательски-ловко, как боец ушу, отвести любую самую наглую и лобовую атаку.

Болтушка-хохотушка, однако почти ничего о личной жизни не говорящая, переводящая всё в ничёмную, обиденную, не стоящую внимания шутку.

— Ты приличная до неприличия, — почти с досадой сказала как-то Ирина.

— Из какой это пьесы? — с напускным вежливо-коротким безразличием рассмеялась младшая подруга.

Ирину и Элис сдружили их собаки. На прогулке цыганистый Буре стал как вкопанный, с лёгкой дрожью оглядывая невиданное чёрно-серебристое декоративное нечто с длинной шерстью, связанной на макушке в пучок.

— Что это, кто? — поражённо воскликнула Ирина.

— Я вас знаю и влюблена во все ваши роли, — с лёгкой тёплой улыбкой и удивительно притягательным, тёплым же голосом ответила высокая незнакомка вовсе не то (ах, как это будет часто!), о чём её спросили.

— Спасибо, но кто это у вас, что за порода такая милая?

— Это ши-тцу, легендарная собака китайских императоров. Все придворные и приближённые обязаны были падать перед ней на колени.

— Смотри, балбес, — сказала своему впрямь обалдевшему псу Ирина. — Вот она, настоящая белая кость под чёрной шкуркой, не то что у тебя, бродяги. И дорогой ваш пёсик?

— Да, но это не главное, мне его подарили. Бенди — единственный ши-тцу в нашем городе. Ужасно верный и преданный, сокровище моё...

— А зачем вы ему шерстку в пучочек затягиваете? Чтоб на императора был похож?

— Нет, так положено; чтобы прядь с глаз убрать, а то они слезятся. Тут же не болонка, глаза у него нежней, чем у нерпы.

На лбу собачки светилось белое пятно правильной округлости.

— Это “поцелуй Будды”, признак породы, — пояснила Элис, такое заёмное вычурное имечко оказалось у новой знакомицы, весьма вдохновлённой собачьей темой. — Китайцы ещё называли ши-тцу “собачкой-хризантемой”, потому что — видите? — шерсть на мордочке растёт, как цветок. И ещё “собакой счастья”. Верили, что поцеловавший ши-тцу Будда пошлёт счастье хозяину собаки.

Элис работала юрисконсультком, жила одиноко и странно; никого в свой мирок не пускала, не имела подруг и друзей; и это при её-то броской внешности, при её точном, почти мужском уме.

И при всём том уме Эля, как генерал в бане, не могла без своих учёных званий; знакомясь, всегда представлялась “Эля, кандидат наук”. Без фамилии, значит, можно, а без “кандидата” никак. Какой-то синдром, комплекс.

И угощать себя никому не позволяла, даже за копейки.

Ирина пробовала поруководить ею, но получила беспшумно-упругий и прочный отпор; более того, Ирина вдруг почувствовала вязкую беспомощность — так лодка садится дном на широкую песчаную мель озера: беззвучно, без скрежета и царапин, но безнадежно, во весь корпус.

Ира однажды видела, как это бывает: сняв тяжёлые вёсла, рыбаки вылезли, однако и после того их плавучую посудину не отклонило, она неподвижно стояла на мели, и мужики с руганью пытались её стронуть, пучились от усилий, совали веслом в песочную муть, рвали красные пальцы о борта.

Мель держала днище, будто в бетоне. Так и Ирину долго держал в тисках ответ Эли на невинный вопрос актрисы, отчего юристка не ищет себе друга.

— Хотя бы методом проб и ошибок...

— Я не заключаю низких компромиссов с жизнью, — учительски холодно ответила Эля. — Искать ненормально. Тем более таким методом. Если суждено, друг сам должен найтись.

Сама сознательная вредина, Ирина тайно робела перед своей молодой подружкой-поклонницей. Хотя та у себя на даче, куда минувшим летом зазвала и Ирину, смеялась совершенно по-детски, с явным удовольствием молла чепуху.

Когда Эля позвонила и тренированными обвиняками сказала, что взяла полугодовалого итальянчика и уже благополучно сдала в милицию и в детдом, Ирина страшно рассердилась.

— Ты ведь нас всех подставляешь, мы теперь все рискуем! — закричала она, будто высеченная злыдня в последнем акте скучной пьесы. — Как можно так опрометчиво!

— Но ты же сама меня на тот адрес вывела... — рассудительно отвечала Эля, и голос в трубке был всё так же странно легкомыслен. — И не называй имён.

— Я думала, ты найдёшь повод, чтобы ей, этой дурочке, отказать, — продолжала в неожиданно нахлынувшем сером испуге актриса. — Не знала, что ты такая профессионалка. А вдруг этот... друг и ко мне нагрянет, потребует малыша обратно?

— Он слишком много пишет про любовь, заиклен только на ней, — резонёрски отвечала Элис. — По какому праву он так изливается, так предметно описывает своих муз?

У неё был переданный Ириной сборник стихов Василия.

— По какому праву? По праву любви, глупица моя больно умная! — Ирину до пят прошибло тёплой испариной. — И почему ты всех держишь за подозреваемых?

Эля действительно чуть не после каждого спектакля выспрашивала у Ирины про её сценических партнёров-любовников, про то, что там в спектакле было сказано взаправду, а что лишь по тексту.

Это всегда дивило и ставило в тупик Ирину. Юристка, всегда логичная, рассудительная, моментально как бы влоблялась в мужичков-артистов и тайно, однако вполне угадываемо ревновала их к самой же Ирине, видя в ней чуть ли не соперницу.

— Боже мой, и это без всякого повода, по одному впечатлению! — всплескивала ладонями актриса. — А если бы я тебя с кем-то из них познакомила и у тебя вдруг появилось какое-нибудь право — ты так любишь это слово! — какое-нибудь право предъявлять им претензии — каждый из этих несчастных моих неумёх превратился бы из вечно подозреваемого в вечно обвиняемого?

— Ну зачем ты... — было видно, что на сей раз Ира попала в точку и юристке нечего ей ответить. — Я умею любить как никто...

— Ты считаешь свою патологическую, эфемерную, ничем не обоснованную ревность любовью? Милая Эля, что у тебя было, какие беды тебя так ломанули?

Элис молчала. У неё в самом деле в прошлом что-то отдавалось болью, но было недоступно, будто новолуние. И Ирина уже знала, что подруга никогда об этом не расскажет. Но она всё-таки обмолвилась.

— Однажды меня по моей молодой глупости едва не уничтожили, — мельком сказала как-то раньше юристка. — Я долго воевала и победила, однако это стоило мне крови... Ту свою маленькую войну я выиграла.

— И что за история?

— Потом когда-нибудь...

Сейчас разговор вспомнился, Ирина силой заставила себя говорить ровно. У всех всё непросто...

Непросто даже вон тому несчастному усохшему дубу у бульвара, который никак не спилят, не похоронят. Пока от тоски не пристукнет кого-то ломаными ветвищами.

— Хорошо, я позвоню Татьяне, скажу, что всё в порядке.

— И больше ничего. Пусть успокоится.

Может, и успокоилась. Зато Иру в тот же вечер накрыло, словно взрывной волной.

Аккурат перед спектаклем Элис пришла к служебному входу. Она была всегдашняя, только щёки адели чуть ярче.

— Дай слово, что сумеешь сегодня сыграть.

Как сигнал о бедствии, о налёте, бомбёжке.

— Что-то ужасное? Насчёт малыша?

— Дай слово, — Эля упёрлась взглядом, будто буравом.

— Конечно, даю. Я даже после местного наркоза стоматологического играла. Что?

— С меня час назад взяли подписку о невыезде. Они мгновенно идентифицировали мальчика.

Шатнулся театральный паркет; Ирина устояла. Лишь безразлично — безразличие всегда есть высшая степень отчаяния, холодно переходящего в панику, — уронила:

— Теперь нас всех упекут...

Эля порывисто перебила, обняла; выше на полголовы, накрыла Иру волосами, словно эфемерной защитной сетью.

— Нет, одну меня. Вас обеих я не знаю.

— Да что за чушь... Все актёры помнят, в каком ряду ты сидишь и глязеешь на меня.

— Но ты же перед ними мною не хвасталась... Мало ли у тебя долбанутых поклонниц.

В отличие от Ирины, Эля редко употребляла столь грубый слог.

— Слушай, Эл, не считай меня тушицей. Я сыграю, сыграю сейчас, не бойся. Скажи правду, что нас ждёт.

Эля посмотрела в упор, слюдным взглядом, не мигая, как-то по-рыбы: — Вас обеих, конечно, тоже допросят, и вы ничего не скрывайте. Всё равно выйдет наружу. Только говорите, что это всё я придумала, и предложила, и настояла. Ведь так, по сути, и было, правда!

— Дура я, дура! — схватилась Ирина за бьющие кровотоком виски. — Пусть бы она сама ребёнка и сдала... Ей бы ничего не было. Зачем я тебя втянула?

Юная подруга погладила великовозрастную артистку по макушке, словно маленькую девочку, расстроенную пустяком.

— Слушай мою историю. Я полюбила, он сначала показывал мне звёзды, а потом стал тянуть в свой круг. У них к тому времени слепился целый уголовный выводок. Я чудом от всего этого ушла, чудом.

“Опа... — растерянно подумала Ирина. — По-моему, она сама себе хулиган”.

И ласково, словно тяжелобольной, сказала:

— Может, ты принимаешь сегодняшнее как расплату за то?

— Нет, просто я давно ничего не боюсь. Когда-то, чтоб успешней с ними воевать, на юриста выучилась, кандидатскую на жилах тянула, до сих пор по-ученически хвалюсь ею, ты ведь заметила. Да, комплекс, изломанность. Но сейчас в этой жизни боюсь только за своего Бенди.

Ирину уже давно звали в гримёрку, по-домашнему тепло пахнущую кремами. А тут так дико пахло стальным решетчатым ароматом.

— Она о своей китайской собаке! Ведь на скамью мы сядем все трое... то есть, четверо, даже пятеро, если ту мамашу-проходимку считать. Мы все считаемся в сговоре.

— Повторяю, указывайте только на меня. Даже требую. Скажи это и ей, прикажи! Тогда вам вынесут только определение.

— Но ты, ты!

Элис на секунду отвернулась, затем опять посмотрела прямо в глаза; зрачки снова были как бы спокойны, но плескалось в них судорожное:

— Меня, по всей видимости, откупят... Он, странно, до сих пор любит. Терпеть его не могу, а он...

— Да откуда у него деньги?

— Он давно миллионер. Все суды может в карман положить, будто свежую газетку.

И вдруг на полуслове Эля, эта железная Эля с золотым ангельским голосом, бурно разрыдалась:

— Боже, как мерзко, мерзко! Ни за что не позвоню, да он сам узнает и даже согласия спрашивать не будет. Узнает — и откупит. И опять я у него в лапах... Он противен, жесток. Лучше бы... Мне себя не жаль нисколько, жаль Бенди, только Бенди...

### 13

На следующее утро раздался звонок Тани.

Даже не снимая трубки, Ирина догадалась, что это она, что снова с чем-то жалобным: казалось, звоночек сам был жалобен. Ответила почти с ненавистью.

Но сразу поняла, что обманулась. Голосок звучал лучезарным захлёбывающимся колокольцем. Наверное, даже Буре уловил прянувшие из телефона счастливые флюиды и умильно выдвинул язык.

— Ирина, приезжайте вместе с Элей! Тут такое... Это не я прошу, это из милиции. Но ничего страшного! Тут такое...

— Как ехать, с вещами? — металлическим тоном спросила актриса. — Тогда пусть предупредят моё начальство.

— Нет, что вы! Тут Василий, его семья, тут этот... итальянец с Робиком... Дипломаты какие-то, Василий...

“У неё крыша едет от своего Васи”.

Позвонила Эле. Та ответила сразу; чувствовалось, что всю ночь не спала.

— Татьяна говорит, у неё милиция и все наши подельщики. Говорит, милиция требует туда и нас с тобой. По-моему, чтоб увезти в одном “воронке”.

— Да нет, так сейчас не бывает. Там что-то новенькое. Давай через полчаса встретимся у её подъезда.

Голос Эли был чуть заторможенным. Но оделась опять безупречно. Только ногти покрыты разными лаками, каждый в свой цвет, отчего явилось в юристке что-то аляповато-цыганистое, слегка вызывающее.

— До утра дурила, чтоб нервы не порвать, — сказала, заметив взгляд Ирины.

Дверь открыла встрёпанная Таня с сияющими расширенными глазами. “Точно, спятила”.

Ирина чувствовала, что и сама слегка помешана после сомнамбулического спектакля и бессонной ночи, после тысяч сбивчиво кричащих дум.

В квартире как в улье. Василия Ирина почти не заметила, сердце даже не перестукнулось.

Да и выглядел он словно дальнее туманное облако: ни черт, ни очертаний.

Остальные были незнакомы: милиционер в серо-синем офицерском бушлате; когда-то, видать, привлекательная, а сейчас весьма истёртая тётка с колючим и одновременно растерянным взглядом (“его жена”); рядом ни на кого не смотрящая решительная девица, одетая ярко-растерзанно, жалкий идеал бродяжливых подворотен и вульгарных дискотек (“его дочь”).

“Ага, вот и Роберто, заморская интрига нашего провинциального сериала для домохозяек. Пузан...”

Пузан, пускающий от повышенного к нему внимания прозрачные слонки-пузырьки, подпрыгивал на коленях худого, как запятая, чернявого итальянчика, не скрывающего счастья в шальном взоре — этим иноземец сейчас походил на Татьяну.

“Быстро же прилетел... Да и они словно у дверей ждали. А он... он же вообще прятался? Может, у того поэта Анатольевича. О, как ты сдал, дружок, всего за пару месяцев... Поделом”.

Тем временем офицер затвердевшей вдруг поступью вышагнул вперёд, вынул из неуместно-красной кожаной папки бумажку, протянул Эле:

— Возьмите свою подписку о невыезде, Элис Андреевна, и извините за беспокойство. Сами знаете, служба, мы были обязаны. Но теперь всё разрешилось.

Тон сверхвежливый, даже низкопоклоннический. Не иначе, Эля-Эличка есть предмет тайных вздыханий всего высшего милицейского состава тутошнего. Тебе, Ира, такое мундирное почтение и не приснится.

— Ну что же, начнём. Уполномочен сообщить всем присутствующим, — майор говорил уже кондово-официально, однако смотрел не на “всех присутствующих”, а на сидящих рядом со счастливым итальянчиком трёх отглаженных зверьков в галстуках; наверное, каких-то атташе или интерполовских блюстителей, — уполномочен сообщить, что потребность в судебном разбирательстве отпала, поскольку господин Джузеппе Волари и госпожа Елена Плужникова заключили мировое соглашение, а также подписали контракт о попеременном пребывании их сына Роберто в Италии и России вплоть до совершеннолетия, когда он получит право выбирать себе гражданство и постоянное место своего жительства.

Джузеппе поспешно забормотал; тихо, застенчиво, но итальянски-быстро, в единую чижиковую трель. Выслушав, один из отглаженных зверьков-атташе громко сказал на приятно акцентированном русском:

— Сеньор Волари очень просил и просит не наказывать никого из участников этой истории, поскольку прекрасно понимает их добрые чувства. Ему принадлежит и идея о попеременном воспитании. И ещё он просил провести эту встречу именно здесь, а не в официальном заведении, поскольку здесь нам легче решить одну весьма важную проблему.

“Да какой он наркоман? Совершенно разумный парень. Ну, твоя девка сволочь, милый Васенька”.

Ирина проговаривала это внутри и тут же забывала, как реплики одноразовой репризки.

— Проблема состоит в том, что мать младенца не желает сопровождать сына в Италии в первые оговорённые контрактом полгода. А опекать мальчика с русской стороны, как опять же оговорено контрактом, кто-то обязан, во избежание повторения истории, случившейся здесь. Опекун — нет, лучше, скажем, сопровождающий — выбирается либо из родственников матери, либо из тех, кому она доверяет и подпишет с ним отдельное соглашение.

“Вот тебе, Васенька, и загранкомандировочка даровая”.

Тут Ирина заметила свои мысленные обращения к Василию, внутренне изругала себя.

“Ревность, пропади она... Блуд всё, блуд и срам”.

Актриса мельком взглянула на Татьяну. Таня смотрела на Василия неотрывно, будто на священный огонь.

Жена Василия косилась на Таню — высокомерно, словно ушлая рыночная торговка на безденежного бродяжку.

И ещё эта мятая баба быстренько взглядывала на своего мимолётного зятя-итальянчика; взглядывала слоняво-гнусно, таясь от дочери.

“Ой, компашка... Как меня — такую, как говорят, рассудительную — угораздило вляпаться в это?”.

Джузеппе ломано заговорил на русском. Голос был ему под стать, тонкий, хиленький.

— Мои умоления... Мама Лена свой мама не доверил, Новосибирск-ба-



бушка верит, но Новосибирск болеет, очень старый. Мама Лена свой папа Вася доверил, но папа с рожденья боится самолёт, пароход...

“Вот ты какой. В сутробах спать не боишься, а тут... Однако к чему они все клонят?”

— Остаётся тётя Таня, хоть не родной... — заметно дрогнувшим тоном продолжил несчастный Джузеппе. — Мама Лена тётя Таня доверяет...

— Нет-нет, я же сказала, я не могу бросить своего отца. Посмотрите, у него каталка, он уже по дому ходит с трудом.

Сказав это, Таня беспомощно оглянулась; глаза хозяйки уже не сияли, были в спектр тусклой её квартире с покоробившимися безделушками на выцветшем серванте.

Ирина поняла произвольный ищущий взгляд Тани, этой простенькой большеротой рыжуньи, не умеющей маскировать чувства.

“Ха, остаёмся мы с Эличкой... Неужели та выдра и нам доверяет? Да просто она хочет сорвать контракт”.

— Я доверяю всем, — словно по запаху учуяв мысли актрисы, сказала выдра-Лена; сказала глухо, поспешно-нервно, как школьная двоечница, лихорадочно ищущая неведомый верный ответ на вопрос учителя.

“Нет, она не хочет сорвать дело, просто мечтает побыстрее вернуться к своим убогим богемным танцулькам. Спешит ухватить последние годы, вон и короткая юбочка ей уже не по возрасту”.

— Она доверяет всем, кроме меня, — проскрежетала угрюмая жена Василия, с сожаленьем отводя от зятя блёклые свои глаза. — А я всё равно тоже вся сквозь хвораю.

Да, вот это вылитая лоточница. Недаром Василий ещё в ранней молодости сбежал от неё из Новосибирска, да и дочурка следом.

Однако пора упреждать. Ясно, к чему идёт. К комедии.

— Большое спасибо за доверие, — нейтрально-выдержанно произнесла Ирина, глядя в пустоту, чтоб не адресоваться ни к кому конкретно, — но у меня ежедневные спектакли. И старенькая мама, как у всех.

Последние слова всё-таки поднажала, характер-язва сработал. А что, у них те же отговорки.

Джузеппе в полной тоске посмотрел на Элис.

— Я согласна, — просто сказала она. — Давно мечтала увидеть Италию.

Милицейский офицер в восторге хлопнул себя по мясистым коленям — как гаубица салютом грохнула. И все тоже — даже балашихинская жена лоточница — облегчённо и одновременно вздохнули.

Джузеппе, щенячы всхлипнув, встал. Неуклюже, но стараясь сделать как можно более по-русски, поклонился Элис, протянул Робику.

Эля взяла приутихшего малыша на руки и мгновенно превратилась в Мадонну Литта, только ещё красивей.

Возле Ирины будто невидимая шпага свистнула; точь-в-точь, как та, что когда-то, руша сценарий, чуть не проткнула её, глупышку, и её глупенькие восторги.

И жарко стало, и чуть стыдно, и очень-очень неловко. Хотя сейчас все смотрели не на неё, а на Элис.

“Что же ты, Господи, не проливаешь сверху осияния, не даёшь знака небесным хорам? У нас Иваныч как раз сейчас бы пустил над залом бравурную музыку... Но нет, то и есть наша ложь театральная... А тут я без хоралов рада. Впервые вижу общее счастье не на сцене”.

Главный зверёк-атташе будто подслушал.

— Это первый такой случай в моей практике, — с мягкой доверительной улыбкой сказал он, бережно вынимая заранее отпечатанный и даже дважды проштампованный бланк соглашения.

Эля спокойно, не опуская младенца, который сидел на её руке уверенно и твёрдо, как бедовый степной беркутёнок, подписала бумагу чётким чудесным росчерком.

Лена, стараясь не смотреть на сынишку, подошла спешно, угловато, ковырнула и свою подпись и тут же стала одеваться вместе с матерью.

— Вы можете переночевать у меня, — сказала обеим Таня.

— Чего это, когда и полдня нету, — почти оскорбленно, как умеют одни товарки, ответила балашихинская гостья. — Пускай вот он тут празднует.

— Да, я ещё побуду, — ровно, будто держа пробирку с серной кислотой (не дай Бог расплеснуть), ответил Василий. — А переночую у Анатолича. Товарка-лоточница хмыкнула и достойно, то есть опять же как поруганная невинность, удалилась вслед за дочкой.

Откланялись офицер, официальная тройца и Джузешпе, бережно держащий укутанного малыша, — сиятельная машина везла его в центральную гостиницу. Телефоны, адреса, дата отлёта — всё было оговорено в пять минут.

Терпеливо переждавшая эту суету Ирина тоже сняла с вешалки своё не-весомое пальто.

— Ира, оставайтесь, пожалуйста, у вас до репетиции ещё три часа, — попросила Таня неизменно искренним и чуточку жалобным голосом.

— Ну конечно, остаюсь, ты же меня полгода не увидишь, — мягко и вместе с тем властно, не допуская отказа, произнесла Эля, как-то вдруг ставшая взрослее даже Ирины.

Нет, не вдруг, а ещё со вчерашнего вечера, когда поняла, что ей предстоит, но вряд ли угадывала, чем кончится.

— Вот я и без приглашения здесь побуду, правда, Таня? — продолжала зарозовевшая Эля. — Это ведь, по сути, прощальный обед. Василий, мы с вами видимся впервые, но вот деньги, сбегайте, пожалуйста, в магазин.

— У вас уже, небось, итальянские лиры, — с широкой дружеской улыбкой, какую не подделаешь, ответил Василий. — Лучше я на наши рубли.

“Ах, сколь знакомая улыбка, плутище! Ни меня не жалеешь, ни Таню...”

Хотелось видеть его плутом; его врождённое обаяние, щедро греющее всех, кто рядом, хотелось называть предательством; пусть и зная, что не права.

Василий принёс крепкого вина и гору продуктов. Таня села о бок с ним, Ира и Эля напротив.

— За сказку, — произнёс Василий, выпив бесшумным залпом.

— За Джузешпе, — добавила Таня, тоже хлестнув полный маленьковский стакан, и покорно положила голову Василию на квадратное плечо — хоть сейчас руби.

— За Элис в стране чудес, — сказала Ирина, пригубив, стараясь смотреть не вперёд, а на подругу; ей сегодня часто приходилось поневоле отводить глаза.

— За то, что жёсткая скамья подсудимых обернулась уютным самолётным креслом, — Эля подчёркнуто по-мужицки выдохнула и отхлебнула большой глоток, дав понять, что этим оставляет Ирину одну с её трезвой надутостью. — Однако куда я дену Бенди?

— Кто это? — навестила ушки Таня, перестав лопотать Василию нежности, инстинктивно почуяв, что сказано о маленьком и пушистом.

— Мой пёсик, моё единственное и бездонное счастье в этой жизни.

— Пёсик! — захлопала в ладони Таня. — А если вы его поручите мне?

Эля засмеялась; таким открытым и чистым, будто юный снежок, смехом она и Ирину не одаривала.

— Поручу. Вы очень добрая, Таня, он вас полюбит. Его можно носить на руках, хотя в нём целых девять килограммов, он великан для своей породы.

Василий, с проступившим тонким свежим шрамом, белым на быстро заалевшей щеке, встал, взял Танину гитару, вновь сел за стол и обыденно, будто подавая салфетку, сказал:

— Элис Андреевна, можно предложить вам экспромт?

— Заранее благодарю, — так же обыденно, словно принимая чиновную бессахарную чашку чая на привычном рауте, ответила Эля.

Таня и Ира невольно переглянулись; и обе увидели, что губы друг у дружки чуточку прикушены.

Хотя Ира теперь не одна против трёх, теперь два на два, но всё так же силы неравны. Какая мука: Василий и один всеми тремя поиграет, будто цветными камешками.

И тем удивительней, что не играет вовсе — просто живёт. Василёк, травинка здешняя. Может, душа иная? Да что в ней иного, в душе родной?

Василий запел медленно — по неспешным, порой долго повторяющимся переборам струн было видно, что строки и впрямь рождаются сейчас, под эти переборы.

— Госпожа ты моя хрустальная. Радость тихая, изначальная... Хрусталём расколосось счастьеце. Чужаки у крылечка ластятся. Чудакам до утра вздыхается, госпожа спозаранку мается. Госпожа моя — в лентах барышня — так боится любви-пожарища. Обожглась очень сильно, милая, и старается дуть... м-м... на стылое. Хочет в тень убежать от солнышка, испивать горечь лет до доньшка. Как тебя разбудить, душа моя? Как... нет... Где слова отыскать те самые? Посмотри ты в себя, как в зеркальце, и тебе в эту жизнь поверится. Ты пленительна, словно мерцание, притягательна, как обещание! Госпожа ты моя хрустальная, песня тихая, изначальная.

Таня скусилась, Ирина убрала под стол дрогнувшие руки, Эля отчуждённо-строго спросила:

— Откуда вы узнали про ленты?

Ирина угадала, что за строгостью подруга прячет волнение.

— Я даже думаю, что они были светло-синего цвета, — пожал плечами Василий.

Эля встала и вышла. Через мгновения быстро вошла и сказала всё так же отчуждённо:

— Верно, мои девичьи ленты были именно такого цвета. Но ведь никто этого не знает.

— Да я просто предположил, извините, — приветливо сказал Василий.

Они смотрели друг в друга, два контакта на коротком замыкании; и полыхающий, соединяющий и губящий обоих ток шёл через сожжённые сердца Тани и Иры.

Впрочем, мягонькая Элис сумела устоять, оборвать пылающую электродугу чувств. Не такие токи выдерживала. Тряхнула каштановой головкой, сквозь упавшую на глаза чёлку легко-легко, как после эфемерно-страшнейшей сказочки сказала:

— Ничего, я лишь слегка испугалась. Это наше женское. Вот и Таня в первую встречу смутилась, когда я что-то нечаянно в ней угадала. Правда, Таня?

Хозяюшка облегчённо ухватилась за брошенный ей спасательный круг:

— Да. И ещё я тогда дала вам прозвище “Нота Фа”. Её поют херувимы. Молнии ушли, дышалось мягко, говорилось упруго.

— Вы хороший поэт, — сказала Василию Элис.

Он ответил с неизбежным равнодушием, как о пустом:

— Спасибочки, но слово “хороший” поэтам, думаю, не подходит. Есть поэты с большой буквы, коих на земле единицы, поскольку они посланники Божьи; и есть поэты с буквы маленькой, что нисколько их не унижает. Я из таких. То есть, по большому счёту я просто не поэт, хотя это абсолютно не мешает мне жить. Главное, не врать про поэзию себе и уж тем более окружающим.

— Ну да, ты ещё про циркачей заливал, про имитаторов-эквilibристов, — сказала Таня. — Не кокетничай.

Василий засмеялся, допил вино, как утреннюю ручьевую воду, потрепал её по макушке:

— Это лишь трезвый взгляд на себя.

— Трезвый взгляд пьяного мастера, — безвредно вставила Ирина. — А знаете, мне пора на репетицию.

— И мне пора, — поднялась Эля. — Надо с работой закруглиться. Я-то в своей юридической консультации сама себе хозяйка, но ведь нужно кого-то вместо себя подобрать.

— Привозите скорее пёсика, — жалобно-весело улыбнулась Таня.

Элис обняла её — чувственно-чисто:

— Привезу и всё о нём расскажу. У нас ещё целая неделя впереди.

Всю эту неделю Таня была одна. Василий наутро уехал — грустный, по-нурый, поцеловал автоматически. И не звонил, вот что главное.

Ожидание звонков за месяцы знакомства с ним стали для Тани душевной пыткой, соусащей и не рассасывающейся болью.

— Может быть, он спрятался у Иры, — бессознательно, в полусонном мареве говорила себе Таня. — Пусть так, зато на улице встретится.

Хотя ясно поняла, что уже и артистка Василия не интересуется. Ночью об этом напрямик сказала.

— Да, не интересуется, — нехотя согласился он, и поздний трамвай за окном приостановился подслушать. — Она честная, но слишком рациональная. Как ты говоришь, “расчётливое сердце, рациональная душа”. Однако бескорыстная, вот что меня обмануло.

— Ты вновь в погоне за несбыточным. Ты влюбился в Элю. Но если бы и эта любовь сбылась, ты сбежал бы и от неё.

— Наверное... А вообще, мне сейчас дороже всего этот малыш, внучок иностранной. Боюсь, больше его не увижу.

Таня невесомо положила руку ему на грудь. Грудь была в холодной испарине, сердце билось уныло, изработанно.

— Отчего ж ты не захотел в Италию? В конце концов, туда и поездом можно, вкруговую, это ж полуостров.

— Не знаю... Вернее, знаю: я бы не выдержал там целых полгода. Плохое свойство. Дочка взяла самое плохое и от меня, и от матери.

Таня помолчала.

— Да, твоя жена поглядывала на этого итальянца и на этого милиционера... извини, так грязно... Неужели она тебе когда-то первой стала изменять?

Василий повернулся набок, в сторону, и Таня испугалась вопроса. Это же будто предложить скальпы с себя снять, с самого потаённого. Но он ответил, всё так же безжизненно:

— Она всегда считала какого-нибудь сантехника дядю Колю более выгодным мужем, чем любой поэт. У них у всех так, у плембеев духа. “Не люби, богатый, бедную. Золотой — полушку медную”. Цветаева.

— Опять золотник разменянный, — горько вздохнула Таня. — В тебе какая-то врождённая обречённость... Жил бы у меня. Я тебя всякого люблю. Бегай сколько хочешь, только возвращайся.

— Я и так возвращаюсь...

С этим поутру и ушёл. Растворился в своём несбыточном, неведомом, бесплотном, но очень ему нужном. Может, ещё в детстве потерял хромосомку счастья, да нет — покоя. Выпала она из души, или совсем её не было; или есть, да какая-то особенная, в другую меру, в другой цвет, другой склад; колко ей, больно — Господи! Что предначертал ты ему, этому милому малому, этой редкостной Таниной находке, её воздуху и её кровотоку?

После давешнего небывалого многолюдья в сердце было особенно пустынно. И Элис, кажется, пристроила свою собачку у кого-то более близкого и надёжного.

Однако ровно через неделю у окна заурчала машина, из неё вышла Эля в каком-то немислимом, уже нездешнем, хоть и очень простом одеянии; с уже нездешним, хоть и приветливым взглядом — и на руках у неё покорно сидела нездешняя собака.

Таня потеряла дар речи, когда они явились в её серой квартире, эти два пришельческих существа.

— Ну вот, — улыбнулась Эля, — знакомьтесь, это Бенди.

Круглая скуластая мордочка пёсика радостно ткнулась Тане в ладонь, словно поцеловала, глазки посмотрели умно и добро.

— Сейчас вы, Таня, его покормите, чтоб он совсем понял, что мы с вами друзья. Вот апельсин, дайте ему, он вам исполнит бурный собачий вальс.

Апельсин, яркий и большой, как игрушечный Юпитер, был вежливо взят белоснежными клычками, опущен на пол и, мягко подтолкнутый, легко покотился, будто впрямь сорванная с небесной орбиты планета; а Бенди

стал делать вокруг него какие-то щенячи-замысловатые восторженные кульбиты.

Элис тем временем вынула пачку тысячных, сунула в сумку с собачьей едой и одежками, пояснила:

— Это для него и для вас с папой.

— Зачем, — слабо возразила Таня. — Я столько денег сроду не видела.

Эля обняла её как давеча, по-сестрински:

— Не могу позволить, чтобы он вас объедал. Кроме того, тут и на международные звонки в случае чего. Ну, посидим десять минуток? И я сразу прощусь с вами и с ним. Мне тяжелы долгие прощанья, все капиллярчики возле сердца натягиваются, рвутся, будто паутинки, и я чувствую себя их жертвой, и борюсь, и мне больно, как пойманной мошке.

Сели и смотрели на пса, а он на них обеих, замерших весталок, заколдованных маленьким пришлым жрецом в сияющих одеяньях.

— Откуда он у вас?

— Поверите ли, насильно мне всунули, ещё почти щенком, привезли контрабандой прямо из Китая. Я так не хотела, но через месяц влюбилась без памяти. Что делать, ребёнок мил и от ненавистного отца. Даже, может, оттого мил ещё боле.

Гитарная струна со стены плывуще повторила жалобную нотку в голове Элис.

— Не волнуйтесь, мы с ним поладим... А вы действительно согласились, чтобы посмотреть Италию? — спросила вдруг Таня совсем о другом; наверное, чтобы поскорее убрать, утишить жалкую нотку, вовсе, конечно, не “фа”.

Вопрос вправду чуть бестактный; у Тани, она подозревала, они все получаются как бы не в тон, корявенькие, ребячьи. Однако Эля ответила уже вновь ровно и приветливо:

— Нет, конечно. Мне стало остро жаль этого итальянца.

— Но ведь они так быстро... Не дали даже подумать. Словно загородную прогулку предлагали.

— Тут очень нестандартный случай. Наши не были уверены, всё ли правильно с законной точки зрения, и не стали волокититься; чтоб, если что, свалить на его настояния. Он же отец. Ну и ещё боялись, что передумает и просто отсудит сына. Отсудил бы, как пить дать. А нам с вами, конечно, не поздоровилось бы...

Встала быстро, уверенно, даже как-то автоматически-отработанно; будто парашютист по сигналу к прыжку. Что за выучка? Причём прыжок заведомо будет точен, отличен, как по компьютерной программе сделан.

Тут и шарада. Ну не бывает в жизни, чтоб сразу в тебе и программа, и чувство. Ну вот не бывает, и всё, Таня знала. Есть или человек, или машина. А вместе — это уже кентавр какой-то, который хорош только в мифах.

Шестерёнка и душа... Электроника и чувство... Антимир, небывалость. Несбыточность...

Эля, словно почувствовав, что Таня сейчас так сумбурно, так чисто поженски её изучает-сканирует, деловито закончила:

— Инструкции и советы насчёт Бенди я написала подробно, они в сумке. Всё, я ухожу, милая, а то расплачусь. Бенди, кроха, это теперь твоя добрая хозяйшечка до самого лета. Она очень, очень добрая, слушайся её и жди меня, я скоро вернусь.

Чмокнула Таню — волна амбры прошла дуновением; чмокнула Бенди и поспешно закрыла за собой очарованно скрипнувшую входную дверь.

Пёсик посмотрел вслед, раздумчиво постоял и улёгся тут же, мордочкой-цветочком к двери.

Так он пролежал дней пять. Таня подсунула под него коврик, пробовала кормить, но его чёрные лунатические глаза смотрели прямо-таки умоляюще: не до того, мол, мне.

На прогулки выходил с неохотой, стоял у подъезда, дрожа в своей расписной жилетке.

И дрожал вовсе не от снега и лающей на кого-то прохожей старухи, а от боязни пропустить приход Эли, от желания поскорее прибежать обрат-

но к своей лежанке, к тому месту, где он последний раз видел хозяйку, и куда она, по его честным собачьим понятиям, должна воротиться.

Позвонила Эля:

— Грустит?

— Ой, ещё как... — упавшим голосом ответила Таня.

— Ничего, это должно пройти. Почаще носите его на руках, можете даже на одеяло к себе в постель укладывать, он привыкнет, он умный.

От знакомого ровного голоса, журчащего так рядом, Таня слегка успокоилась. В городе пухли толковища про мировой финансовый кризис и обжираловку боящихся прогореть на инфляции рестораторных ходячков, про идущие нарасхват золотые младенческие соски-пустышки в ювелирных магазинах и повальный терроризм частных коммунальщиков, грозящих всех выселить за неуплату услуг. Но голос Эли всё приглушил.

— Эля, звоните почаще, если можно. Вы там за сиделку или за нянечку?

— Нет, что вы, — рассмеялась Элис. — Этим другие занимаются. Я вроде гаранта, что мальчика не спрячут, не увезут куда-нибудь на Ямайку или в Америку. Джузеппе сам так захотел; чтобы потом в России такие же гарантии иметь. Напуган Новосибирском, бедняга.

— А где вы живёте?

— Во Флоренции, в одной мансарде на улице Савонаролы.

— Господи, кто это?

— Ну... что-то вроде нашего Аввакума. В общем, этого их монаха сожгли; кажется, за излишнее морализаторство. Теперь вот он у них памятник.

В телевизоре морализовала столетняя местная чиновная заседательница, похожая на сухую тыкву со свечой внутри, с точно так же горящими прорезями бровей, глаз и зубов. Привычно-бредоносно она звала “не прятаться нам всем в кабинетах, а дойти до каждого простого человека, защитить его от кризиса”.

— А у нас памятники идти в народ друг дружку кликают... Вы про того итальянского монаха Ире не говорите, не то расстроится, набожная ведь.

Элис в ответ снова засмеялась:

— Нет, конечно; я ей про статую Давида, про галерею Уффици... А вы с Бенди гуляете?

— Да, но он всегда спешит домой и всё время лежит у двери, где видел вас напоследок. И ест очень мало.

Таня побоялась сказать, что пёсик не ест вовсе. Может, и вправду скоро наладится.

Но благородный четвероногий китаёныш с волшебной чёрно-серебристой шёрсткой впал, казалось, в анабиоз; он был весь тихое тоскливое ожидание.

Даже дольку любимого апельсина, силой просунутую ему в пасть, глотал безучастно, лишь из вежливости. Бенди был весь сама вежливость, не сопротивлялся ни баюканью, ни укладыванию с собой в постель.

Но через полчаса он осторожно вылезал у Тани из-под мышки, неслышно шёл к двери и ложился, как прежде, на живот и со взглядом на вход; он не спал, Таня точно знала, что он не спал, он продолжал ждать.

В краешке выпуклого глаза отражалась уличная снежная подсветка, но отражение было неподвижным, как в мёртвом стекле; только медленно возгоралось с рассветом.

Заботливо вычесанный и подвязанный Таней роскошный хохолок на макушке, делающий пёсика похожим одновременно и на владельца Поднебесной, и на бедного луковичного Чипполино, целыми днями торчал без движения, как ветла в безветренную засуху.

“Его порода называется ши-тцу? Ну и загадку вывели эти императоры... Бенди, я тоже перед тобой ползать буду, как китайские придворные перед твоими предками, — только поешь хоть чуточку”.

Кормление силой обессилило Таню; да нет, не обессилило, она бы и все полгода кормила собачку так — но пугало оцепенение Бенди, всё более безнадежное.

И когда Эля снова позвонила, Таня откровенно сказала:

— Боюсь, заболит. Ничего не хочет. По крохам проталкиваю ему в

горлышко еду. Похудел, какие там девять килограммов. Ношу и веса не чувствую.

— Приложите трубку ему к уху, — дрогнувшим голосом произнесла Элис.

Таня приложила, мобильничек утонул в вялой тёмно-розовой раковинке с равнодушным мохнатым кантом. Эля что-то сказала Бенди.

С ним вдруг сделалась истерика. Он вздёрнул чёрно-серебряную хохлатую голову, вскочил, закружился шальным волчком, ища взглядом хозяйку.

Наконец растерянно остановился — и, укушенный отчаяньем-гадюкой, завыл тонко, долго.

Плач длился и длился. Змейка отчаяния цапает хоть людскую, хоть собачью душу всегда неожиданно и всегда в момент почти сбывшегося счастья.

Шаг в изумрудную травку покоя или во мхи поиска-ожиданья, блаженный знак, что находка вот она, вот...

И тут бескровный укус, беззвучная страшная догадка — и всем надеждам конец. Чем ближе был голос счастья, тем злей отравляла окончательной потери. Дружок Бенди, ты всё теперь понял.

Эля лепетала из её далёкой развесёлой Италии:

— Я ничего подобного от него никогда не слышала... Успокойте его, Танечка, успокойте как-нибудь. Вызовите ветеринара, позвоните Иру: может, поможет, Бенди её знает.

Ирина была недовольна, но приехала. Ветеринар, с трудом растребушив густейшую длинную шерсть, старательно вколал диковинному пёсику витамин и ещё что-то.

— Второй месяц пошёл, пора уж тебе привыкнуть, — гладила Ира пёсика, а он, утихший, но полный неизбывных собачьих слёз, слабо вилял хвостом, однако ничего и из рук актрисы не брал.

Он слабо плакал и на другой день, и во все следующие. Пожилой ветеринар, угрюмый от глуповатого дела всей своей жизни и угреватый от каких-нибудь только ему ведомых обезьяньих хворей, колол витамины через день, Эля звонила почти ежедневно.

— Джузеппе отпускает меня, даже настаивает, — покорно обронила, узнав, что Бенди всё хуже. — Но как я нарушу соглашение: та Лена может за это ухватиться, и тогда хлопот не оберутся ни тут, ни там, у нас в России.

— Плоньте на неё, на эту вздорную бабёнку! Скажите итальянцу, пусть увозит Робика хоть в Новую Зеландию, куда ни один Интерпол не достанет; в конце концов, она первая так сына умыкнула... А Бенди для вас много дороже; у него, кажется, уже приступы, прямо эпилепсия какая-то пришла после того, как голос ваш услышал! И практически два месяца не ест!

Таня сама, считай, в приступе; отец выезжал на дребезжащей иссохшейся каталке из своей затенённой комнаты и молча подёргивал дочь за край домашнего халата, успокаивая; наклонялся к лежащей собаке, осторожно трепал за ухо.

“Вы же все такие хорошие, добрые, — думала Таня про отца, про Иру, даже про ветеринара. — Отчего же не умеете помочь, отчего ни в чём не виноватый пёс должен умирать... Ведь он не болен, он просто любит. Почему так в жизни: светло и чисто любящий гибнет в первую очередь... Обстоятельства... Что это за закон такой безумный — обстоятельства?”

— Не могу я приехать, — почти безголосо спорила с Таниными мыслями и словами Эля. — Не имею права ставить всех под удар. Подписала бумагу — всё.

Как из западни.

— Ну на время, Эличка.

— На время... Потом Бенди станет ещё хуже.

И Эля пробормотала будто в забытии:

— Неужели придётся... Неужели...

Затем несколько летаргических дней не подавала о себе весточки.

Тут, как из провала времени, явился Василий.

Ирина вошла к Тане и в глубине тусклого коридора увидела Василия, старого, обшарпанного, давно не бритого. Он посмотрел, и в глазах, когда-то близких и наполненных множеством живых оттеночков, была пустота, плотная, однотонная, как прочно стёртый титр.

В душе царапнуло, словно гвоздиком по мрамору. Четвёртый или пятый раз за зиму она в этой квартире, пахнущей задворками жизни, всякий раз поневоле — и снова здесь он, этот странный прохожий на когда-то ровной тропинке её, Ирины, судьбы.

— И с этим типом я целовалась, из-за него к бабушке ходила... Ну и ладно, считаем это нелепой ролью из спектакля, уже снятого с репертуара”.

Ах, роли, роли, куда от вас в этом адище, называемом жизнью?

— Ну, как дела, несбыточный вы наш? — с совершенно искренней непринуждённостью, как и положено истинной язве, спросила она.

— Вот она, несбыточность, — кивнул Василий на лежащего пластом, будто свалывшаяся непроглаженная шкурка, Бенди. — Умереть от преданности; такое среди нас, людишек, вряд ли возможно.

— Как видите, хорошего в суперпреданности мало, — с непонятым упорством сказала Ирина и тотчас подумала: “Зачем я? Ведь я просто злось. Он пропустил мою язвительность мимо ушей. Ему абсолютно не до меня. Он вернулся к Тане именно за её бездонную, безоглядную преданность”.

Она наклонилась к Бенди, от которого веяло горем:

— Несчастливая псина, как жестоки эти твои китайцы. Вывести такого идеального друга — разве честно? Тут скорее какое-то зомбирование...

Таня, в отличие от Василия и Бенди, кинулась к актрисе, будто тонущий к спасательному шлюпу; порывисто, взбалтывая, взметая брызги чувств и движений.

— Ира, попробуйте заставить его съесть что-нибудь, он при вас хвостом вильнул.

— На секунду понадеялся, что вслед за мной войдёт и Эля, — распрямившись, ответила Ирина. — Он часто видел нас вместе... А знаете, мой Буре тоже заболел чем-то. И мама.

Ей вдруг захотелось хоть на несколько мгновений прислониться сердцем к этим двоим — в общем-то, гораздо более счастливым, чем она, успешная, но одинокая прима.

И даже потянуло рассказать, что неделю назад её пригласили по окончании сезона перейти в столичный театр. Это мечта любого провинциала, она дала согласие, но сейчас подумала:

“Никуда я не поеду. Если мамы не станет, в монашки подамся”.

— Что с собакой делать? — уже мирно, по-родственному спросила она. — Спасать надо. Василий Николаевич, уговорите дочь откатиться от мальчика, он же ей не нужен, сами видите. Тогда Элис мигом вернётся.

— Попробовал бы, — вздохнул поэт, впервые за эту встречу посмотрев на неё; с некоторой даже жалостью; понял, чем Ирина терзается. — Но я знать не знаю, где она. Ждать надо, пока сама объявится, хоть позвонит, что ли.

Бенди, слыша голоса и не различая среди них голоса самого родного, снова заныл на одном истончающемся звуке. Плач исщеплял воздух, от него хотелось выпрыгнуть в обледеневшее окно, тянуло звать и взывать.

Нужно решение — действенное, как скальпель: распухающая саднящая боль становилась общей губительницей.

Перемена будто стояла за порогом. Но это было нечто посуровей скальпеля.

В дверь грубо, нетерпеливо грохнули. Таня спешно открыла и отпрянула: в дом, толкнув её, ступили два громилы, причём в чересчур цивильных, вызывающе цивильных костюмах.

Так одеваются известно кто; во всяком случае, уж не дипломаты.

— Мучаете собаку, сволочи? — рыкнул первый, с лицом конюха, выбившегося в председатели райпо, глядящий сквозь всех и не замечающий ни-



кого; голос был из настоящей пыточной. — Она стоит дороже всей вашей хатёнки.

С этим он рывком вынул из грудного кармана сложенную, чуть выцветшую синюю ленту, косо и быстро повязал её на шею Бенди, затем бросил второму, не глядя:

— Бери его, бери самолёт; и чтоб за шесть часов на месте.

“Лента... — поплыло у Ирины перед глазами. — Настоящая, или у меня галлюцинации?”

Второй бандюк, так же не гляючи, подкинул Бенди себе под мышку. Пёсик одинаково свесил все четыре лапы и голову, стал вроде траченной молью марионетки, за ненадобностью подвешенной в пыльный угол.

— Что вы делаете, выродки! — визгнула пришедшая в себя Таня. — Пустите собаку, это не банная мочалка!

Встрёпанная, с горящими зрачками, Таня сделалась по-настоящему страшна.

“Сейчас она погибнет, но сначала кому-то из них вырвет зенки, — мелькнуло в голове Иры. — Женщина, особенно любящая, в бешенстве готова на всё; и может всё”.

Те, конечно, этого не знали.

— Ты мне ответишь за кобелька по полной, сучка, если он околеет, — через губу сказал Тане первый и главный. — Вы все...

Договорить не успел. Василий стальной пятернёй цапнул конюха за наденное райпошное горло, приподнял и вжал в коридорную вешалку, словно сырой, неудачно слепленный глиняный горшок.

Голос главного, до того вполне барский, как-то стеклянно хрупнул; пришелец судорожно, мелко и беспорядочно, сминая половик, заскрёб носками глянцевых ботинок.

Тут чпокнуло — будто литая градина ударила о твёрдую землю. Это парник, стоя в распахнутых дверях, одной рукой держа Бенди-тряпочку, второй выхватил пистолет и влил пулю прямо Василию в бок.

Василия тяжко отбросило, он упал. Громилы выскочили, столкнувшись в проходе, потому что первым уйти должен был держащийся за помятый калдык главарь. Таня с Ирой вопили.

Василий стонал и корчился. Голенастый, вмиг ставший нескладным, он походил на матёрого умирающего лося-сохатого.

— Ты жив, ты только ранен! — сорванно крикнула Таня. — Ира, звони “скорой”!

Время сжалось до булавки и исчезло, пространство вместе с перекосившимися стенами, окнами всасывалось в чёрную дыру небытия.

Потом дыра лопнула и выплюнула телефонный дребезг. Нервно мелодировал телефон актрисы.

— Где Бенди? — торопливо спросила Элис.

Странно, она спрашивала это у Ирины, а не у Татьяны, хотя и к Тане этот вопрос был бы странным. Она что, не знает, где?

Актриса поняла весь расклад.

— Слушай, в лентах барышня, — сухо ответила Ирина, силой утишая клокочущее дыхание. — Предупредить не могла?

— Я не успела. Меня Робик отвлёк, мы с ним гуляем, хоть я от волнения ничего вокруг себя не вижу. Даже вместо Тани тебя набрала. Что у вас, что?

“Ну и игру ты затеяла, подруга писаная... Боевик, триллер, мелодрама; всё в одной упаковке. И мы в роли дурачков-жертв. А теперь душевное смятение играешь”.

— Они стреляли. Но пуля, кажется, резиновая — других же ты им не позволяешь?

— Я никому ничего не... В кого стреляли? — было слышно, что Эля кричит на всю добропорядочную тихую флорентийскую площадь Сеньории.

— В Василия. Он твоему миллионщику горло почти надвое передал. Тот ничего, не бойся; сбежал с твоей собакой. А Вася уже поднимается.

“Вот и для меня он вновь Вася”.

— Дай, дай ему трубку!

Василий держался за разбитое ребро, пошатываясь, лесной линияльй сохатый, милая травинка здешняя; стоял с закрытыми глазами — будто, возвращаясь из дьявольского астрала, вдыхал земное притяженье; но телефон взял и заговорил с Элей ровно, не сбивая слов, как в надоедливый журналистский диктофон.

— Да, госпожа. Да? Значит, вот так? Ничего, ничего, жизнь налаживается. Сеньоры пообещали, что через шесть часов этот мохнатка будет у вас. Очень рад за него.

Таня смотрела слегка непонимающе, но долго размышлять не могла: она сняла с Василия куртку, свитер, рубаху; весь бок был фиолетово-чёрным.

Таня бережно поцеловала этот бок (“будто к струнцам библейского калеки приложились”, — почти восхищённо отметила Ирина), отвела Василия в свою комнату; потом успокоила папу, выкатившегося на шум, ничего тоже не понявшего.

“Этот сирый дом запомнится мне навеки. Чем? Одною ли стрельбой?”.

— Я пойду, — сказала Ирина.

— Оставайтесь, очень вас прошу, — умоляюще сложила ладони Татьяна. — А то я могу в обморок брыкнуться.

Со сложенными на груди ладошками она напоминала сейчас какую-то измождённую богомолку из картин Эль-Греко, у которого все святые и все измождены той их святостью.

“Нет, она не та, она наша, наша русская византийка, и святость для неё не одоление, а норма... Впрочем, что за умствования лезут в мою еретическую головушку в такой миг”, — подумала актриса и сказала:

— Тогда набери Элис. Международка не для моего кармана.

Эля и Таню попросила не тратиться, отключилась и перезвонила сама. Ира взяла телефон из по-прежнему чуть трясущихся горячих пальцев Тани и шепнула:

— Иди к Васе, иди. Ты ему нужна...

А Эле отчуждённо уронила:

— Он же, твой звездогляд, убийца от рождения. Не боишься, что не травмирующую, а настоящую пулю для тебя найдёт?

— У нас договор, а договоры он чтит; он не беспредельщик.

“Ага, почтил волк овечку... Или... Неужели я такая тушица, что не могу принять непонятого? У меня кругом одни резоны, я запуталась в резонах, а потому и в жизни”.

— В чём договор?

— Поставил условие: либо выхожу за него, либо ни за кого не выхожу. Я выбрала второе.

Здорово. Просто слезоточивая индийская фильма.

— А что за лента такая? Он, будто в плохом кино, её бантиком на Бенди повязал.

Было слышно, как Элис болезненно хмыкнула; видать, наморщилась, словно от давно ноющего зуба.

— Значит, до сих пор бережёт... Они, эти садисты, любят сентиментальные жесты. Ленту он у меня, десятиклассницы, в первый же день знакомства выпросил. Удивляюсь, как ваш Василий её в стих вставил.

— Ничего удивительного, — Ирину бритвой резануло это “ваш”. — Кто в девичестве лент не носил... Вот что, дорогуща. Василий обещает уговорить дочку документально отказаться от сына; да её, небось, и уговаривать не придётся, особенно после таких событий. Кому тогда здесь с младенцем, с Робиком, возиться? Василий теперь... с Таней...

— Ты переживаешь, — сочувственно произнесла Эля. — Не надо, это жизнь.

Ирина помолчала. Чувство было странное. Наяву никогда, а во сне являлось: будто бы весь зал гнусно молчит после её самой лучшей, самой надрывной мизансцены. Растерянность, тягучая тоска, нежелание жить.

— Знаешь... Я в монашки хочу. Нет сил больше на всё это смотреть, вариться в этом.

Теперь Элис помолчала. Потом уверенно, даже твёрдо сказала:

— В монастырях театров нет.

— И что?

— А то, что ты не сможешь без сцены. Езжай в Москву, не отказывайся. Я вернусь домой, буду приезжать в столицу специально смотреть на тебя и аплодировать.

— Нет, родная моя юристка-опекунша, лучше оставайся там, возле Давида и Веронезе. Дождись, пока твоего миллионщика здесь прихлопнут. Тогда и договору конец. И вообще, ты же понимаешь, наши органы сейчас спокойно могут к тебе прицепиться, хоть и обожают тебя за неземную красоту и кристальные принципы.

Робик что-то записал из своей колясочки. Это, наверное, помогло Элис перевести дух перед очередным перекатом их каменистого, быстрого и неостановимого, как горная речушка, разговора. Через минуту Эля ответила:

— Ира, я не виновата, что этот тип до сих пор меня помнит. Как на зло, или на счастье, он вчера позвонил. Я от отчаяния и сама уже готовилась его искать. Бенди можно было спасти только так. Иначе я бы умерла прежде него... А в монастырь, если Бог нас призовет, вместе с тобой уйдём. Кого нам и любить, как не Бога? Родная, ведь людей-человеков, хотя бы единого из них, самого достойного, мы с тобой любить не умеем.

Вот ещё перекаат-поворот. Того гляди, перевернёт, разобьёт в щепы твоё судёнышко-душеньку.

Ирина оглянулась. Все двери комнат были плотно прикрыты живущим за ними счастьем, и актриса почувствовала себя в коридоре, словно в запяном отстойнике-склепе.

“Отказать женщине в умении любить, то есть, читай, дышать? Да каждая из нас считает, что она способна любить, как никакая другая. И... да, Эля права... почти каждая носится по жизни с этим убеждением, словно с дубинкой. И потом обвиняет всех мужчин в гибели своих неповторимых чувств. Ведь и я такая, пожалуй. А почему же ты сломалась, Эля?”

Мысли лились микронным безвременным сгустком.

“Ты совсем недавно призналась: “умею любить, как никто”. А теперь хлестнула себя, будто плетёным кожаным, тщательно вымоченным кнутом. Что произошло? Услышала стих, или увидела настоящее... несбыточное?”

Ира осторожно, очень осторожно, полушёпотом, похожим на мольбу обречённого, спросила:

— Эля, а ты знаешь хоть одну женщину, кто умеет любить? Скажи, дорогая, скажи. Я, столь умненькая сценическая притвора, совсем запуталась в настоящей жизни... Знаешь кого-нибудь?

Элис, будто слотнув горькую таблетку, ответила замедленно, с трудом; но именно то, о чём Ирина уже мгновением раньше догадалась:

— Сама знаешь. Таня умеет. Да-да, эта глупенькая и великая, эта простенькая и беззаветная жертвенница. И Бог её жертвы благосклонно принимает. А наши натужные жертвования пока нет... Но будем надеяться, он и нас простит, вразумит. Извини, высокопарно сказала. Просто отсюда всё наше видится чище и честней. Тут... тут даже звёзды будто чужие. Будто нарисованные, а не наши настоящие.

Флоренция сдержанно шумела в трубке своим католическим язычеством. Подруги грустно попрощались. Эля ждала Бенди. Ирину ждала сцена.

Таню ждало счастье.

Несмышлёныша Роберто ждёт долгое пресноватое итальянское детство с папой Джузеппе и приёмной мамой Элис; но будут у него нечестные и такие безумно счастливые встречи с русскими травами и цветами под названием василёк. И будет мягкий, стелющийся над лугами зов:

*Госпожа ты моя печальная,  
Песня тихая, изначальная.  
Хрусталём расколось счастьеце,  
Чужаки у крылечка ластятся.*

*Чужакам да утра взыдаецца,  
Госпожа спозаранку маецца.  
Госпожа мая — в лентах барышня —  
Так боіцца любві-пожарыца...*

*Обожглася очень сильно, милая,  
И старается дуть на стылое,  
Хочет в тень убежать от солнышка,  
Испивать горечь лет до донышка.*

*Как тебя разбудить, душа моя?  
Где слова отыскать те самые?  
Посмотри ты в себя, как в зеркальце,  
И тебе в эту жизнь поверится.*

*Ты пленительна, словно мерцание,  
Притягательна, как обещание.  
Госпожа ты моя хрустальная,  
Радость тихая, изначальная.*

— Кто тут поёт, мама? — удивлённо спросит избалованный лёгкими латинскими ритмами мальчик.

— Это поют травинки здешние, — ответит мама Эля. — Много их у нас, много как нигде. И все они... несбыточные.

— Ты говорила, это любимое слово моего дедушки. Что оно означает?

— Мечту непостижимую, недостижимую и неизбывную. Без неё жить нельзя. Ничего, когда-нибудь поймёшь, дружок...

